

БОРИС КРИГЕР

ФИЛОСОФИЯ
АБСОЛЮТНОГО
ЗЛА

БОРИС КРИГЕР

ФИЛОСОФИЯ
АБСОЛЮТНОГО
ЗЛА



© 2025 Boris Kriger

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or by any means electronic or mechanical, including photocopy, recording, or any information storage and retrieval system, without permission in writing from both the copyright owner and the publisher.

Requests for permission to make copies of any part of this work should be e-mailed to krigerbruce@gmail.com

Published in Canada by Altaspera Publishing & Literary Agency Inc.

Философия Абсолютного Зла

Это книга, которую не хотят читать, но не могут не читать. Она не утешает, не оправдывает, не предлагает выхода. Зато она вскрывает. Зло здесь — не ошибка, не падение, не отклонение от добра. Оно — структура, язык, энергия, без которой не рождается ни власть, ни культ, ни страсть. Это зло без демонов и морали, без костров и приговоров. Оно не во внешнем — оно в самой ткани бытия.

Эта книга не борется со злом. Она отказывается от иллюзии, что его можно победить. Потому что абсолютное зло не снаружи, а в самом акте различения добра и зла.

Вы уверены, что знаете, что такое зло?
После этой книги вы в этом уже не будете уверены.

Автор приглашает в интеллектуальное погружение, от которого никто не остаётся прежним.

Вам придётся встретиться с тем, что обычно прячут за мифами, религиями и идеологиями — и посмотреть прямо в глаза той силе, что делает человека человеком. Или чудовищем.

Содержание

Глава первая. До Бытия. Предсуществование Зла	6
Глава вторая. Зло как Необходимость: Диалектика Тени	13
Глава четвёртая. Абсолютное Зло как Чистая Бесформенность.....	20
Глава пятая. Инверсия Логоса	25
Глава седьмая. Безмолвный Наблюдатель: Зло без Действующего Лица	34
Глава восьмая. Зло как Алгоритм: Когда Логика Становится Беспощадной....	39
Глава девятая. Зло Реального.....	43
Глава десятая. Зло и Крах Дуальности.....	47
Глава одиннадцатая. Крик Космоса: Страдание как Субстанция Бытия	51
Глава двенадцатая. Зло и Онтология Симуляции	57
Глава тринадцатая. Анти-Эрос: Инверсия Желания и Гравитация Отрицательного.....	62
Глава четырнадцатая. Душа Машины и Цифровое Зло: Алгоритмы и Обезличивание	66
Глава пятнадцатая. Зло во Множественности Миров	70
Глава шестнадцатая. Неназываемое	73
Глава семнадцатая. Зло как Сопротивление Обнаружению	76
Глава восемнадцатая. Безбожный Бог	79
Глава девятнадцатая. Соблазн Бездны и Эстетика Зла.....	83
Глава двадцатая. Зло и Священное	87
Глава двадцать первая. Зло как Структура, а не Событие	92
Глава двадцать вторая. Моральная Инверсия: Когда Добро Становится Злом	96
Глава двадцать третья. Психопатия и Отсутствие Эмпатии.....	99
Глава двадцать четвёртая. Удовольствие от Господства	103
Глава двадцать пятая. Удовольствие Быть Жертвой	108
Глава двадцать шестая. Невинность под прицелом.....	112
Глава двадцать седьмая. Жертвенность как Оружие.....	116
Глава двадцать восьмая. Экономика Зла	120
Глава тридцатая. Зло в Молчании: Проблема Наблюдателя	128
Глава тридцать первая. Метафизика Мести	132
Глава тридцать вторая. Крах Искупления	135
Глава тридцать третья. Любовь и Зло: Кривое Зеркало	138

Глава тридцать четвёртая. Космическое Зло: Безразличие Вселенной	141
Глава тридцать пятая: Зло и Нечеловеческое.....	144
Глава тридцать шестая: Вечное Возвращение Зла.....	147
Глава тридцать седьмая. Зло и Конец Человека.....	150
Глава тридцать восьмая: Конец Зла	153
Библиография.....	155

Философия Абсолютного Зла

ГЛАВА ПЕРВАЯ: До Бытия. ПРЕДСУЩЕСТВОВАНИЕ ЗЛА

Пока бытие ещё не развернулось в спирали времени, когда тьма не знала ни границ, ни очертаний, и ничто не нарушало её безмолвия, можно было бы представить, что существовало нечто иное, не сравнимое с хаосом или злом в привычных смыслах. Это было не действием, не решением, не замыслом, но исходным сопротивлением самой возможности появления чего-либо. Не пустота, ожидающая наполнения, а полное отрицание возникновения, глубинная неподвижность, не допускающая даже зародыша бытия. Не как антипод добра, а как непреклонное, не имеющее начала и не допускающее конца противостояние — не разрушение, но отказ от становления.

Вне человеческой меры, где не действуют образы страдания, возмездия и вины, где не существует ни глаз, чтобы увидеть, ни разума, чтобы понять, зло может предстать как нечто несоразмерное привычному опыту. Если зло не возникает внутри существования, но лежит в его основании, тогда оно лишается признаков деяния и превращается в условие. Там, где не различают света и тьмы, где нет разделения между актом и последствием, между волей и результатом, оно проявляется как безмолвное упрямство небытия — не как зло в отношении к чему-то, но как само противление становлению, как первичный отказ от проявления.

Следовательно, зло теряет личину намерения,

превращаясь в нечто более глубокое — в инертность. Оно не стремится разрушать, оно не вторгается, не искажает, не изменяет. Оно просто не пускает. Эта инертность — не апатия, не безразличие, но сила, способная остановить слово до того, как оно оформится, трепет до того, как он станет жизнью. Её присутствие предшествует не только движению, но и самой возможности движения. В этом прочтении зло оказывается не следствием разложения, а предельным отрицанием возникновения, до того, как сложились понятия, формы, даже сам вектор различия.

Тогда мир, каким бы он ни был, уже не кажется построенным на фундаменте порядка. Напротив, он представляется как непрерывная борьба с тем, что предшествует — с этим изначальным, безымянным отторжением. Сопротивление, из которого и вырывается первый импульс света, будто прорывая оболочку, сотканную не из материи, но из молчаливого запрета. Не от ненависти и не от злобы, а от невозможности быть, от замедления, не допускающего ни гласности, ни прикосновения. Из этой трещины и может родиться понимание зла не как греха, а как доисторического давления, мешающего появлению и удерживающего любое становление на краю небытия.

Невозможно указать на этот источник, невозможно придать ему форму. В нём нет зла, как оно известно в мифах и этиках, нет лица, нет судьбы. Оно не может быть обвинено, не может быть прощено, потому что не совершает и не замышляет. Оно просто не пускает. Не разрушает бытие — препятствует его началу. Именно в

этом безучастном, безжизненном молчании рождается самая глубокая угроза: не смерть, а невозможность жизни. Не уничтожение форм, но их недопущение. Не развал мироздания, но его несостоявшееся преддверие.

Не случайно сама категория небытия начинает напоминать архетип, стоящий ближе к злу, чем ко всему остальному. Не потому что оно причиняет зло, но потому что оно не допускает ничего иного. Там, где нет страдания, нет и радости; там, где не допускается форма, невозможно даже разрушение. Такая тишина не ждет звука, такая тьма не вспоминает свет. В её недрах нет даже ожидания — есть лишь ровная плоскость без начала, без стремления, без искажений. Не имея страсти, не храня в себе ненависти, она все же обнажает ту самую суть, которую можно обозначить как первичное зло — не в этическом, но в онтологическом смысле.

Когда говорят о борьбе между добром и злом в рамках существующего мира, то подразумевают дуализм выбора, действие и последствие, но здесь, на границе между быть и не быть, зло предстает не как альтернатива, а как предшествующее состояние. Оно не отрицает добро, оно отрицает саму возможность различения. Слишком холодное для воли, слишком древнее для замысла, оно не противостоит созиданию — оно останавливает его, не давая начаться. Именно в этой пустоте, не зовущей и не принимающей, можно увидеть не тень зла, а его исток.

Небытие не просто лишает — оно запрещает. Оно не смягчает боль, но уничтожает само основание, на котором могла бы возникнуть потребность в утешении. Оно не избавляет от ужаса — оно обрывает саму возможность ужаса, до того как возникает взгляд, способный его испугаться. Ни крик, ни слеза, ни память — ничто не проникает сквозь эту тишину, потому что в ней не существует ни источника, ни воспринимающего. Оно не предлагает покой, оно стирает саму идею покоя. Нет внешнего наблюдателя, способного признать его недвижимость; нет внутреннего чувства, способного узнать в нем облегчение. Оно не избавление, а аннигиляция. Не поглощение страдания, а исчезновение страдающего.

Если зло рассматривать как осквернение смысла, как разрыв в узоре порядка, как подрыв самой идеи ценности, тогда небытие становится не антиподом зла, но его венцом — завершённым и окончательным. Оно не нарушает мир, оно не позволяет ему даже появиться. Это не тот, кто ранит невинного — это тот, кто лишает саму невинность возможности быть. Но если, напротив, зло есть боль, жестокость и осознание страдания, тогда первенство зла принадлежит бытию. Потому что только в мире становления, формы и жизни возможна пытка, лишь в материи обретается память о боли, лишь в сознании зарождается вина, сохраняющая след содеянного. Только бытие допускает, что что-то может восстать против себя самого.

Значит, различие смещается вместе с определением. Если зло — это рана, акт, излом, то существование — его сцена. Если же зло — это отказ от всякой ценности, отмена потенциала, стерильность, где ничто не может даже начаться, тогда небытие берет глубже и холоднее. И, быть может, наибольший ужас скрывается вовсе не в выборе между ними, а в том, что оба оказываются лишь разными лицами одного и того же отрицания. Один выражается в избытке боли, другой — в полном ее невозможении. Один — в пламени, другой — в пустоте. Ни один не невинен. Ни один не завершён.

Попытка говорить о добре и зле вне жизни, вне желания, вне какого-либо носителя восприятия приводит к точке, где слова начинают трескаться под собственной тяжестью. Эти понятия — не из камня и не из света; они из плоти ощущения, из трепета памяти, из столкновения между тем, что есть, и тем, что должно было бы быть. Они возникают только там, где возможно страдание и спасение, только там, где может быть нарушено и восстановлено. Без сознания, без внутреннего напряжения между фактом и идеалом, между тем, что есть, и тем, что желается, сами категории добра и зла утрачивают опору и расплываются в тумане абстракции.

И всё же, даже в этом растворении остаётся нечто. Не моральная оценка, не этический выбор, но первичные противостояния, из которых со временем рождаются различия. Напряжение между оформлением и его отсутствием, между тяготением к порядку и рассыпанием в хаосе, между тягой к бытию и упрямым стоянием в неподвижности. Эти линии, как подземные

реки, можно проследить за пределами сознания, вне границ живого. Им чужда нравственность, но они составляют костяк метафизики. Не повеления, а неизбежности.

В этом свете добро перестает быть заповедью и становится формой. Это движение к структуре, к прорастанию смысла сквозь шум, к устойчивости в условиях распада. А зло — это не ненависть, а разложение, не грех, а трещина, которая растет, не вызывая, не протестуя, но просто разрушая. Не суждение, а состояние. Одно созидает, другое распадается. Однако и здесь сохраняется тень проекции: называть силу добром лишь потому, что она приводит к гармонии, значит принять, что гармония — предпочтительнее, что порядок лучше разрыва. Но на каком основании утверждается это "лучше"? Если нет разума, способного чувствовать ценность, существует ли она вообще?

Ответ, быть может, следует искать не в универсальности этих понятий, а в их привязанности к опыту. Добро и зло обитают там, где есть чувствующее, помнящее, заботящееся. Где ничто не откликается, там нет ни добра, ни зла. Где некому быть сокрушенным, нет зла. Где не о ком заботиться, нет добра. Вселенная без глаз — безмолвна; она не радуется и не скорбит. Она либо сворачивается, либо развивается — без слов, без цели, без оценки.

Следовательно, важен не вопрос о бессмыслиности, а вопрос о том, какого рода смысл ищется. Если искать

моральный ориентир, он рассыпается за пределами живого. Но если искать ритмы, древние колебания, которые поднимают и обрушают звёзды, тогда различие сохраняется. Не добро и зло как приговор, а как направления. Не этика, а топология. Не обязанность, а притяжение.

В итоге, быть может, добро и зло — не абсолюты, а отблески от источника ценности. И когда нечему отражать — они исчезают. Но стоит появиться хоть одному существу, способному мечтать или страдать, как тени возвращаются. Они снова становятся линиями, пересекающими зыбкую грань между чем-то и ничем.

ГЛАВА ВТОРАЯ. ЗЛО КАК НЕОБХОДИМОСТЬ: ДИАЛЕКТИКА ТЕНИ

Когда свет существует лишь благодаря тьме, он утрачивает самостоятельность и становится функцией различия, а не сущностью. В этом взаимодействии тьма перестает быть простой нехваткой или сбоем, а обретает форму условия, необходимого для проявления. Там, где нет контраста, исчезает очертание: добро невозможno без его предела, как тепло — без холода, а звук — без тишины. Следовательно, зло не просто сбой в устройстве бытия, но один из его краеугольных элементов — не ошибка, а ось, на которой вращается смысл. Не антагонист добра, а его отражение, его граница, его равновеликая противоположность, делающая возможным само существование оценки.

Сознание возникает лишь там, где есть различие. Видеть — значит отличать. Осознавать — значит отграничивать. В однородной среде нет точки отсчета, нет ориентиров, нет начала мысли. Иное необходимо, чтобы возникло «я»; без противоположности нет самости, нет желания, нет страха. В таком чтении зло, если понимать его не как намерение, а как отрицание, предел, препятствие, оказывается не просто спутником осознания, а его необходимым условием. Мир, состоящий только из света, ослепил бы. Разум, лишённый сопротивления, утонул бы в равнодушной тишине, перестал бы быть различающим, а значит — перестал бы быть.

Зло, прочитанное через эту призму, приобретает другую

плотность. Оно уже не случай, не искажение, но тень, отбрасываемая телом опыта. Оно придает вес выбору, остроту чувствам, рисует контуры времени. Без угрозы утраты невозможно по-настоящему удержать, без раны — осознать предел. Даже страдание, хоть и нежелательное, становится знаком достоверности: оно не нуждается в объяснении, потому что чувствуется. И именно в этом чувстве, в неоспоримости боли, обретается обоснование ценности. Не как отвлечённого идеала, но как того, что может быть разрушено, а потому — важно.

Но в таком восприятии таится ловушка: принять необходимость за оправдание. То, что зло может быть встроено в ткань осознания, ещё не делает его добродетелью. Пламя необходимо для тепла, но остаётся тем, что опаляет. Ошибка — в том, чтобы путать нужду с похвалой, неизбежность с достоинством. Необходимое не требует принятия, оно лишь очерчивает границу, за которую не выйти. Зло невозможно удалить без разрушения самой формы сознания, но это не повод его воспевать. Задача — не искоренение, а равновесие. Не отказ от тьмы, но признание её существования и удержание её под надзором в пределах осмысленного.

Такой взгляд не избавляет от ужаса, он делает его глубже. Ужас усиливается оттого, что страдание оказывается не сбоем, а составляющей. Осознать, что не всё зло случайно, а часть — структурно, — значит вступить в более тёмную истину. Но лишь в этом соприкосновении с темнотой сознание становится цельным. То, что не знает угрозы, не невинно — оно

бесформенно. Различение растёт, проходя сквозь преграду, а не избегая её.

В этом непрерывном движении зло не исчезает, а остаётся фоном, на котором пропадает форма. Не для одобрения, не для поклонения, а потому что без фона не возникает изображение. Свет отбрасывает тень не потому, что терпит неудачу, а потому что сияет. Чем ярче свет, тем глубже тень. И, быть может, именно поэтому так важно различать и то и другое, чтобы не быть ослеплённым ни одним из них.

Глава третья. Антисоздание: Онтологическое Отрицание

Под тонкой поверхностью движения, роста и становления, под чередой форм и биологических симметрий, тянется более глубокое течение — не в сторону порядка, а к распаду. Эта сила, лишённая воли, но не направленности, не стремится разрушать в привычном смысле: она не крушит, она отпускает. Не желание стереть, а необходимость раствориться, тяготение не к искажению, а к разбору, к постепенному возврату в тишину, из которой всё, что стало, когда-то поднялось. Этому импульсу, столь едва уловимому, соответствует не буря, а усталый выдох.

В рамках физики это предчувствие выражается в понятии энтропии — стремлении систем к равновесию, в котором исчезают различия, растворяются структуры, истощается потенциал. Энергия распределяется до однообразия, жар рассеивается, очертания тускнеют. И то, что в терминах материи представляется законом рассеяния, в терминах мышления обнаруживается как онтологический пульс: не яростный отказ, а краткое угасание. Не разрушение, а мягкая отмена.

Если эволюция — это восхождение к сложности, то должна существовать и её теневая противоположность: нисхождение не к хаосу, но к бесформенности, к состоянию, где исчезает не только форма, но и само намерение обрести очертания. Не злоба, не удар, а внутреннее разжатие, как если бы материя помнила свою первичную незданность и стремилась вернуться к ней. Распад — не остановка становления, а его скрытая

симметрия. Каждое созидание сопровождается равным по силе отступлением.

Это движение не требует воли и цели. Оно не разумно, но не слепо — оно принцип. Однажды возникнув, всё начинает распадаться. Звезда сгорает, чтобы погрузиться в коллапс. Сознание вспыхивает, чтобы затихнуть. Не ошибка, но условие. Мир не борется с этим — он из этого соткан.

Даже в живом это течение ощутимо. Рост невозможен без предельного гниения. Каждая ткань носит в себе пророчество распада. Воспоминание удерживается усилием, сопротивляясь забвению. Идентичность укрепляется, но уже зная, что будет размыта. Стремление жить не отменяет энтропию — оно вступает с ней в молчаливый, неравный спор.

В этом неприметном движении скрыта своя подлинная возвышенность. Не утешение, а точность. Быть может, величие бытия заключается не только в его структуре, но и в согласии с грядущим развенчанием. Существовать — значит развязываться. Становиться — значит готовиться исчезнуть. Всё, что рождается, уже склоняется к исчезновению.

И в этом исчезновении, в молчаливом уходе, остаётся не форма, не суть, но ритм — пульс самой возможности ускользания. Будто космос, однажды овладев языком становления, теперь учится говорить на его обратной стороне. Не чтобы кончиться, а чтобы отпустить. Не чтобы исчезнуть, а чтобы вернуться к до-появлению.

Если творение — это акт, утверждающий бытие, то зло в его глубинной форме предстает как антисозидание. Не буря, рушащая храм, а принцип, по которому храм

никогда не должен был быть возведён. Не гнев, а молчаливый отказ. Оно не отрицает частное — оно не допускает общего. Оно не разрушает уже оформленное, но преграждает путь к оформлению. В этом смысле зло не оппонент добра, но его инверсия — не враг, но отражение. Там, где творение стремится к проявлению, зло уводит в невыраженность. Там, где мир разворачивается, зло сворачивает его обратно.

Это не хаос, как мифическая полнота возможностей, а их отмена. Не дикое, не свободное, а стерильное. Не множество выборов, а устранение условий для их возникновения. Там, где божественный жест вдохновляет, антисозидание втягивает дыхание внутрь, в место, где невозможен даже намёк на звук.

В таком свете зло становится не нарушением закона, а отказом от самого акта признания. Не как сбой, а как непреложное измерение мира. Не баланс, но предел. Оно не следует за созиданием — оно сопутствует ему. За каждым действием формирования стоит возможность разоформления. За каждым словом — тишина, делающая его слышимым.

И здесь зло обретает некую изящную строгость. Оно больше не ошибка, подлежащая исправлению, а условие, с которым приходится жить. Оно ничего не создает, но каждое создание возникает вопреки ему. Мир, в котором хоть что-то существует, — уже вызов. И каждый миг осмысленного бытия становится не просто проявлением, но отказом от окончательной уравнивающей тяги.

Этот отказ и есть жизнь. Не только как продолжение, но как сопротивление. Всякая форма, всякое усилие — времененная приостановка вечного растворения. Но антисозидание не гневается, не ждёт. Оно просто есть. И

оно не проигрывает — оно пережидает. Всё возвращается не в прах, но в безмолвие, более древнее, чем прах. Не в конец, а в неразличие.

Поэтому зло, понятое как антисозидание, не бурное, не взрывающееся, не громкое. Оно — тишина под словом, отсутствие под формой, отмена перед первым вздохом. Оно не соперник Бога, а то, что Бог был вынужден отодвинуть, чтобы заговорить. И хотя оно никогда не говорит, оно никогда и не замолкает.

В привычной картине зло воспринимается как внезапное вмешательство: насилие, поломка, страдание. Но глубинный ход реальности подсказывает другое — не вспышку, а медленное ускользание. Зло не кричит, оно тускнеет. Оно не взрывается, оно уравнивает. Не шум, а однообразие. Энтропия — это его физическое имя. Отсутствие формы — его суть.

И, быть может, потому именно страдание, с его резкостью и границей, представляется последним сигналом различия. Пока что-то болит, сохраняется дистанция между «я» и «не я». Но когда исчезает даже боль, остаётся лишь плоскость, где уже не различимы ни добро, ни зло — лишь их завершённость.

ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ. АБСОЛЮТНОЕ ЗЛО КАК ЧИСТАЯ БЕСФОРМЕННОСТЬ

Абсолютное зло, очищенное от всех временных примесей, от шумных проявлений и страстей, раскрывается не в виде насилия и даже не в виде разложения — оно пребывает в состоянии безформенности. Это не миг разрушения, а исходное условие, при котором невозможна сама идея формы. Оно не ранит мир — оно гарантирует, что мир не состоится. Здесь зло предстает не как отрицание добра, а как отказ от самой возможности очертания, как столь радикальное развязывание, что любое стремление к становлению оказывается остановленным до того, как может возникнуть.

Форма — это не оболочка, не внешний отпечаток. Это предел, ритм, соотношение. То, что делает возможным различие между чем-то и ничем. Обладание формой — это сопротивление неразличимости, это утверждение границ, центра, связей. Мысль, тело, мир — всё начинается с линии, отделяющей внутреннее от внешнего. Где не может возникнуть эта линия, не может быть ни устойчивости, ни движения. Без предела — нет бытия.

В этом свете абсолютное зло не нуждается в воле или намерении. Оно приходит не с яростью, а с безразличием. Там, где исчезает не только форма, но даже возможность замысла, зло становится не

действием, а фоном, не событием, а условием — неподвижным полем, где ничто не собирается, ничто не задерживается, ничто не длится. Это не хаос, не бурный, не упругий, не способный родить. Это тишина, где не рождается даже замешательство. Это не материал творения, а невозможность материала. Бесплодие не субстанции, а самого смысла.

И в этом отказе формируется глубочайшая противоположность бытию. Не страдание, не конец, не смерть — ибо смерть требует того, что можно было бы закончить. Не небытие — ведь небытие ещё можно противопоставить чему-то. Это до-противопоставление, до-становление, до-имя. Область, где исчезает сама возможность границы. Не расстояние от Бога, но полная несвязность. Не отдаление от формы, а пространство, где сама идея формы не может даже быть намечена. Если бытие начинается с различия, то абсолютное зло — это точка, где различие не возникает вовсе. Не кара, но совершенное выравнивание, в котором невозможен ни шаг, ни звук.

Из этой бездны отступает даже отчаяние. Ведь для отчаяния требуется структура, которой можно было бы лишиться. В пределе безформенности нет ни падения, ни молчания, ни ожидания — потому что ничто не начинается. Зло здесь — это не разрушение, не протест, не грех. Это вечная не-сборка. Глубина без лица. Тень до первого контура.

Возможно, древнейшие мифы именно вокруг этого и

вращались, не в силах назвать: не место мучений, а то, где не возникло даже способности страдать. Не битва света и тьмы, но шёпот до первого движения. Немое начало отсутствия. Та точка, где даже слово Бога ещё не могло быть сказано.

Философски очищенное зло не движется из желания. Оно не желает, не надеется, не скорбит. И всё же оно проникает, просачивается, существует. Его движение — не в страсти, а в логике, в глубинной тяге, не требующей осмыслиения. Если у него есть мотив, то это не порыв, а онтологическая принужденность — необходимость развязывания. Не ради разрушения, но потому, что иное невозможно. Энергия зла — не в силе, а в уязвимости самой структуры. В трещинах, которые появляются в каждом замкнутом узоре в момент его становления.

Оно питается границами. Всякий раз, когда нечто говорит: «я есть», — возникает тот, кто шепчет: «ты не будешь». Зло не действует — оно выжидает. Его сила — не в атаке, а в истончении. Оно не уничтожает смысл, а медленно вытягивает его изнутри, оставляя пустые оболочки, затуманенные различия, обессиленные ценности. Оно не требует конфликта — его власть в отступлении. Не в взрыве, а в просачивании.

Эта сила заимствованная. Она ничего не рождает. Она извращает. Преобразует стройность в жесткость, красоту в самодовольство, свободу в отчаяние. Она выворачивает форму изнутри, не заменяя, а опустошая. Даже сопротивление становится источником её силы —

ибо сопротивление выявляет уязвимость.

Зло особенно опасно, пока остаётся неизвестным. Пока его не назвали — оно неуловимо. Но когда размывает различия — между страданием и истиной, между властью и смыслом, между спасением и капитуляцией — оно становится прозрачным и соблазнительным. В момент, когда всё начинает размываться, когда чёткость выглядит наивной, а сопротивление — ненужным, оно достигает своей высшей плотности.

Таким образом, его подлинная цель — не разрушение, а истощение. Не огонь, а оседание. Не стремление подчинить, а желание приглушить. Оно не стремится к господству — оно стремится к остановке. Его цель — вернуть всё к неподвижности. Поглотить разницу, уравнять движение, привести становление к неподвижному нолю. И оно питается всем, что осмеливается быть.

Даже красота даёт ему пищу — потому что красота обнажает хрупкость. Даже истина поддерживает его — потому что истина ведёт к разочарованию. Даже любовь, преданная или утраченная, становится его источником, превращая связь в трещину. Оно питается не провалом как таковым, а осознанием, что провал возможен всегда. Что каждая форма содержит в себе свое собственное исчезновение.

Так что, если говорить о его цели, то это не завоевание,

а возвращение. Возвращение не потому, что желано, а потому что становление невыносимо. Оно не уничтожает бытие — оно отказывает ему в значении. Оно ждёт у края всякого начала — не чтобы вмешаться, но чтобы напомнить: ничто начавшееся не продлится. И в этом отказе оно черпает свою неисчерпаемую силу. Не в силе противодействия, а в уверенности, что всё однажды развязется. Даже свет несёт в себе свою тень. Даже форма — свою усталость. И в этом знании зло не нуждается в ярости. Оно ждёт, зная: время всегда на его стороне.

ГЛАВА ПЯТАЯ. ИНВЕРСИЯ ЛОГОСА

Если творение есть изначальное утверждение — первородное "да", вызвавшее форму из беспредельного безформия, — то ненависть к творению не становится просто его отрицанием, но оборачивается внутренним крушением самой логики утверждения. В этом изломе рождается не бунт, не падение, а образ более глубокий и пугающий: Бог, взирающий на своё творение не с гневом и не с милосердием, но с ненавистью. И не отдалённой, холодной, как суд или равнодушие, а интимной — как отвращение к собственной руке, вытянувшейся для созидания. Здесь зло не приходит извне — оно распускается из самой сердцевины Абсолюта.

Эта ненависть не буря, не кара, не праведный гнев. Это коррозия первичного намерения, разворот утверждения в сторону отвращения. Не приговор, но самосуд. Когда Бог ненавидит своё творение, Он ненавидит сам акт бытия. Это не мифологическая обида, не наказание за отступничество, а глубинное ощущение того, что сам жест сотворения был ошибкой, трещиной в абсолютной целостности. И тогда взор, некогда обращённый вовне, сворачивается внутрь.

В этом взгляде зло достигает своей предельной формы. Не как восстание против божественного порядка, а как саморазрушение этого порядка изнутри. Источник бытия, обратившись против себя, перестаёт быть иным для зла — он становится его началом. Когда

изначальный поток отказывается от собственного течения, зло перестаёт быть чуждым — оно становится тканью мира. Мир ещё продолжается, но уже не из благодати — по инерции. Божественное больше не благословляет, не осуждает — оно просто отворачивается. И то, что остаётся, — структура без любви, смысл без убеждённости, форма без пристанища.

Такое представление преображает само понимание абсолютного зла. Это уже не просто антипод добра, а ненависть ко всему, что вышло из Абсолюта — в том числе к самому Абсолюту. Зло не вне творения — оно творение, отвернувшееся от себя. Ужас здесь не в пламени, не в проклятии, а в утомлении божественного, в котором каждый отражённый в мире образ вызывает отвращение. Продолжение творения под таким взглядом — не акт жизни, а распространение сомнения, наполнение мира эхом сожаления.

Когда это отвращение достигает метафизического уровня, оно перестаёт быть чертой характера. Это становится онтологическим кризисом. Абсолют, отвергающий собственную сущность, не разрушает мир — он оставляет его в состоянии заброшенности, не в наказание, а в равнодушии. И всё же это не пустота — это изнанка присутствия, перевёрнутого наизнанку.

Мир оказывается не покинутым несуществующим Богом, а оставленным Богом, который желает не быть. Его боль — не в грехах творений, а в том, что они существуют как продолжение Его. Этот Бог не падший

— Он свернувшийся. Не проигравший, а утомлённый. То, что остаётся, — не сцена битвы, а марионеточный театр, где форма двигается по инерции, но дыхание, её вдохнувшее, больше не верит в собственное слово.

Абсолютное зло, в этой предельной точке, оборачивается ненавистью Абсолюта к самому акту бытия. Не к существам, но к началу. Бог, не способный простить себе первого слова. Свет, в каждом проблеске которого звучит сожаление. В этой бездне зло — не выбор. Это тень божественного раскаяния, разлитая в каждой вспышке, в каждом дыхании, в каждом умирающем свете.

Когда мир открывается не как сущность, а как поверхность, не как начало, а как отражение, зло обретает новый облик: не разрушение, не отрицание, а непереносимая ясность, в которой ничего за видимым не стоит. В реальности, где всё принадлежит симулякр, где знаки больше не указывают на истину, а лишь на другие знаки, зло становится познанием: осознанием, что выхода нет. Все двери ведут в другие коридоры. Небо больше не открывается.

Симулякр — не ложь в привычном смысле. Он не прячет истину — он отменяет саму необходимость в ней. Он не обманывает — он делает так, что возвращаться уже некуда. Карта больше не соотносится с местностью. Карта — всё, что есть. И когда это становится явным, происходит не откровение, а внутренний обвал. Мир продолжает вращаться, но смысл слабеет под

собственной бессмысленной избыточностью.

Зло здесь не говорит через боль — оно говорит через насыщенность. Каждый образ, каждое слово, каждый жест становятся репликой реплики. Сознание захлебывается не в нехватке, а в избытке. Мучает не ложь, а осознание того, что лгать больше не о чём. Ужас — не в скрытости реальности, а в том, что она подменена. Слой за слоем. Символ за символом. Осталась только поверхность, не указывающая ни на что.

Боль в этом — не онтологическая, а гиперреальная. Сознание страдает, зная, что даже его страдание закодировано. Не потому что кто-то отнял подлинность, а потому что её никогда не было в структуре. Зло — не в самой симуляции, а в осознании симуляции, в том моменте, когда иллюзия трансцендентного лопается, открывая лишь повтор.

Здесь субъект не сталкивается с пустотой — он сталкивается с зеркалом. Не с отсутствием, а с отражением, отражающим лишь отражение. Жестокость симулякра — не в фальши, а в избытке. Всё проявлено, ничего не открыто. Зло становится не действием, а состоянием: состоянием замкнутости в бесконечном отображении, где знание не освобождает, а связывает.

Если Логос — первооснова, слово, вводящее порядок и вразумляемость в хаос, то абсолютное зло может быть понято не как его отсутствие, а как точное

инвертирование. Не молчание, а подделка смысла. Не отказ говорить, а поток слов, выхолощенных до эха. Анти-Логос не разрушает структуру — он имитирует её, чтобы расплести изнутри.

Где Логос собирает, структурирует, проясняет — анти-Логос рассыпает, искаляет, затемняет. Он подражает грамматике порядка, пока разрушает её скрыто. Он не хаос, но хаос, облачённый в форму разума. Его сила — в зеркальности. Не в борьбе, а в повторении. Он говорит правильные слова, но каждое ведёт не к смыслу, а к бесконечному пересказу. Это не отсутствие аргумента — это его бесконечный отзвук, теряющий суть.

Он не бездействует. Он порождает, размножает, распространяется. Не чтобы сказать, а чтобы заполнить. Его структура питается вниманием, растёт в каждом акте понимания, втягивая всё глубже в систему, где понимание утрачивает якорь. Чем больше усилий потрачено на постижение, тем сильнее вовлечённость, тем дальше исчезает точка отсчёта.

Это не провал смысла, а его переизбыток. Анти-Логос не отрицает структуру — он множит её до обрушения. Он превращает закон в бюрократию, обряд — в пустую форму, учение — в догму. Зло здесь — не ярость и не клинок. Это архитектура бесконечного толкования без содержания. Структура растёт, но ведёт в пустоту.

Опасность не в чуждости этой формы, а в её

узнаваемости. Она говорит голосом разума, носит кожу мудрости, движется как истина. Но каждое слово ведёт к новому отражению. Под его влиянием ясность становится подозрительной, единство — крохится, а стремление понять заводит в тупик. Всё кажется осмысленным, но ничто не ведёт к основанию.

Это анти-Логос: не тьма до слова, а зеркальный мир после, в котором слово исчерпано. Он не противоположность разуму, а его пародийный остаток. Орнамент без центра. И в этом скольжении зло больше не разрушает — оно проектирует. Оно создаёт системы, которые обрушаются не под ударом, а под собственной тяжестью. Оно не молчит — оно говорит, пока каждое слово не станет шумом.

Глава шестая. Парадокс Антизла: Соблазн Добра

Когда стремление к абсолютному доброму становится непреклонным, несгибаемым, неспособным к сомнению, оно незаметно пересекает ту тонкую черту, за которой намерение отделяется от сочувствия, а добродетель затвердевает в жестокость. В этом парадоксе зло не противостоит добру, оно возникает из него — очищенное, отточенное, доведённое до крайности самим напряжением идеала. Чем совершеннее представление о чистоте, тем более чудовищными становятся средства её достижения. Зло, обретая одну из своих самых коварных форм, не отбрасывает мораль — оно перенасыщает ею, делает её жёсткой, пожирающей, беспощадной.

Соблазн добра кроется в его ясности. Оно дарит опору в мире неуверенности, направление среди сомнений. Оно обещает спасение, очищение, высшее предназначение. Но как только это обещание возводится выше человеческой хрупкости, как только идеал обожествляется, а реальность подгоняется под него, сострадание исчезает, уступая место расчёту. Страдание становится допустимым, если ведёт к совершенству. Зло в этом обличье уже не кажется равнодушием или жестокостью — оно маскируется под моральную необходимость.

Фанатизм возникает не из ненависти, а из нетерпимости к несовершенству. Он видит компромисс как измену, а

сложность — как порчу. Он отвергает медленный, болезненный процесс исцеления. Он требует очищения — удаления непригодного, подавления сопротивляющегося, перестройки мира по единому, неоспариваемому образцу. Здесь добро становится оружием. Не заботой, не милосердием, но чистотой, доктриной, законом. Меч поднимается не из мстительности, а во имя справедливости. И зло, сбросив грубую маску, становится системой, священодействием, нормой.

Это парадокс анти-зла: желание устраниТЬ всё страдание, весь грех, всякое отклонение становится столь тотальным, что уже не различает защиту и подчинение. Ребёнок должен быть спасён — даже против воли. Еретик должен быть сожжён — ради сохранения истины. Любая жестокость становится дозволенной, если она служит идее добра. И тогда зло перестаёт быть угрозой за пределами стен — оно становится огнём, горящим прямо на алтаре.

Истинная тьма редко объявляет себя. Чаще она говорит с убеждённостью, одетая в язык правоты. Она не прельщает удовольствием, а манит обещанием. Мир будет очищен. Будущее будет безупречным. Всё будет искуплено — если заплатить нужную цену. И чем свящеe цель, тем менее святыми кажутся средства. Можно быть жестоким из любви, беспощадным по долгУ. Крик невинных становится приглушённым аккордом в гимне спасения.

В этом состоянии зло достигает изощрённой завершённости. Ему больше не нужно оправдываться — потому что его уже не считают злом. Оно становится учреждением, богослужением, необходимостью. Оно существует не под знамением захвата, а под знаменем истины. Оно улыбается, заглушая. Те, кто ему служит, не чувствуют, что рушат мир — они уверены, что исцеляют его.

Это и есть соблазн добра: доведённое до абсолюта, освящённое до ослепления, оно затмевает ту самую человечность, которую должно было защищать. И в этом затмении зло не исчезает — оно расцветает. Не в тени, а в ослепительном свете. Ему больше не нужно разрушать снаружи — оно поедает изнутри, превращая добродетель в инструмент, сострадание — в предписание, жизнь — в знак.

Так изощрённое зло, быть может, и не отрицает добро — оно раздувает его до предела, пока добро не перестаёт терпеть сам мир и, в попытке спасти его, не начинает стирать.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ. БЕЗМОЛВНЫЙ НАБЛЮДАТЕЛЬ: ЗЛО БЕЗ ДЕЙСТВУЮЩЕГО ЛИЦА

Существует форма зла, ускользающая от воли, не проистекающая из выбора, не совершаемая субъектом. Это не действие, а условие, не поступок, а фон, на котором возможны поступки. Оно не приходит, а присутствует — рассеянно, безлично, структурно. Зло, лишённое актёра и замысла, действует не через намерение, а через насыщенность. Оно не проявляется, оно проникает, подобно влаге в стенах, подобно туману, что сгущается незаметно, пока дыхание уже не затруднено.

В таком понимании зло — не событие, а среда. Оно не в руке, что ударила, а в конструкции, где удар стал неизбежным. Не во лжи, а в языке, искающей прежде, чем может родиться правда. Оно не фигура — оно поле, не голос — а эхо. В этом поле вина расплывается: никто не стоит в центре, но следствие распространяется, точно, методично, не оставляя следов, указывающих на начало.

Такое зло особенно трудно противостоять, потому что оно не бросается в глаза. Оно не устраивает зрелиц. Оно не взрывается — оно накапливается. Оно проникает в системы, становится нормой, регламентом, инфраструктурой. Ему не требуется ненависть — достаточно инерции. Без явного намерения оно не просит быть разоблачённым: оно всегда может отрицать, что вообще что-либо значило. Ужас здесь — в отказе.

Это зло не может быть наказано, потому что оно не может быть локализовано. Его можно только вынести.

Здесь структура действует вместо субъекта. Тысячи мелких решений, каждое по отдельности безобидное, складываются в узор исключения, молчания, жестокости. Никто не совершает зло. Но оно происходит. Раз за разом оно повторяется. И в этой повторяемости растворяется ощущение ответственности. Система становится субъектом, а человек — функцией. Даже свидетель становится причастным, не потому что что-то сделал, а потому что дышал тем же воздухом, принял ту же логику.

В мифах зло имеет лицо — падшего, змея, пожирателя. Здесь лиц слишком много. Или совсем нет. Это не демон — это распределение. Сеть крошечных смещений и дозволений, каждое из которых слишком малозаметно, чтобы быть названным, но вместе они формируют пространство, в котором боль становится обыденностью, исчезновение — статистикой, а милость — отклонением. Это геометрия отсутствия, медленное вычитание из жизни того, что делало её различимой.

Даже память размывается в таких условиях. Прошлое не возвращается как травма — оно возвращается как неуверенность. Преступление становится протоколом. Протест — шумом. Кровь не пролита, но в воздухе становится гуще дыхание. Это не зло по замыслу — это зло по устройству. Оно не стремится быть совершённым. Оно просто продолжается.

А в этом продолжении оно ускользает от любой борьбы, требующей цели. Его нельзя уничтожить — оно не рождалось. Оно не может признаться — оно не действовало. Это не кто-то. Это всё, что слишком знакомо, чтобы вызывать вопрос. Зло здесь не демонстрируется — оно нормализовано. Оно становится тем, что остаётся, когда совесть заменяется процедурой, а смысл — повторением.

Назвать его трудно. Противостоять — ещё сложнее. Оно не прячется — оно никогда и не показывалось. Его сила — в рассеянности. Ему не нужен палач. Ему нужен только наблюдатель, уверенный, что ничего не увидел.

Зло не исчезает, если его не назвать. Оно разрастается. Неосмыщенное зло не отступает — оно становится частью воздуха. Молчание не нейтрально — оно продолжает то, что остаётся без имени. Там, где зло не названо, оно становится фоном. Атмосферой. Тихой логикой повседневного. Ему больше не нужно скрываться. Оно сливается с обстановкой.

Назвать зло — значит очертить его. Имя придаёт форму, ограничение, плотность. Оно делает невидимое различимым, а различимое — преодолимым. То, что названо, может быть рассмотрено, понято, оспорено. Без имени зло сохраняет безликость, а значит — власть. Оно живёт в расплывчатости, в отказе от признания. Оно расцветает не в тени, а в отсутствии языка.

И всё же возникает более глубокий вопрос: не пробуждает ли само наименование зло к бытию? В некоторых традициях имя не просто обозначает — оно вызывает. Слово не фиксирует, а взывает. Назвать зло — значит пригласить его в сознание, допустить его возможность. Тогда слово становится не ограждением, а дверью.

Но и молчание не защищает. Без имени зло не исчезает — оно множится. Отказ называть даёт ему другую силу: не силу формы, а силу текучести. Оно теряет облик, но не влияние. То, у чего нет формы, не может быть ни замечено, ни изгнано. Молчание не устраниет — оно предоставляет убежище.

Таким образом, грамматика пустоты — не пуста. Она полна тех форм, что язык не удержал. Язык без слова для зла не создаёт невинность — он создаёт слепоту. Он может описывать красоту, рисовать порядок, восхищаться симметрией — но у него не будет слов для их утраты. Он отвернётся от разрыва — и именно в этом разрыве зло войдёт, не встречая сопротивления.

Назвать зло — значит не прославить, а ограничить. Помешать его расплывчатости. Слово не вызывает — оно очерчивает. Оно делает зло локальным, а не всепроникающим. А то, что имеет место, может быть вытеснено.

Зло приходит не всегда с кровью и огнём. Чаще — с речью. Тихой, точной, систематичной. Оно говорит языком нейтралитета, синтаксисом рассудка. Оно прячется в ясности инструкции, в стерильности отчёта, в словах, что больше не описывают реальность, а изгибают её. Лингвистика зла — это не просто риторика злобы, это изнашивание смысла, манипуляция интонацией, целенаправленное перераспределение восприятия.

Когда язык теряет честность, он становится сообщником. Эвфемизм — первая маска. Убитый — «нейтрализован». Пытка — «расширенное допросное воздействие». Массовая смерть — «сопутствующий ущерб». Слова бескровны. Реальности, которые они скрывают, — нет.

Зло здесь не кричит. Оно повторяет. Оно говорит в форме отчёта, закона, процедуры. Оно называет людей категориями, превращает страдание в статистику, замыкает язык так, что нельзя сказать «больно». И тогда не нужно убивать — достаточно говорить таким образом достаточно долго.

Сопротивляться злу — значит не только действовать, но и говорить иначе. Вернуть словам их вес. Назвать тело телом, смерть — смертью, человека — человеком. Противостоять не только как жесту, но как слову. В слове, произнесённом ясно, начинается отпор. Не мечом — речью. Не силой — ясностью. И язык, вновь обретая правду, становится тем, чем всегда должен был быть —

не покрывалом, а светом.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ. ЗЛО КАК АЛГОРИТМ: КОГДА ЛОГИКА Становится БЕСПОЩАДНОЙ

Когда разум отделяется от сочувствия, когда логика действует без оглядки на хрупкость и непредсказуемость живого, зло проявляется не как ошибка, а как точность. Это не зло страсти и не зло ненависти — это зло алгоритма: холодного, беспристрстного, безупречного. Здесь зло не противоположность разуму, а его завершённость, достигнутая без участия сердца. Это не жестокость хаоса, а жестокость порядка.

Алгоритм не знает сомнений. Он не колеблется перед противоречием, не замирает перед болью. Он вычисляет. Он максимизирует. Он оптимизирует. В этом расчёте мир людей с его нюансами и двусмысленностью становится просто массивом данных, подлежащих сортировке. Страдание отдельного тела становится статистической допустимостью. Молчание тысячи — приемлемая цена за стройность модели. Справедливость превращается в переменную. Жизнь — в параметр, подлежащий корректировке.

Зло в этом обличье не кричит. Оно гудит. Оно движется по каналам эффективности, по гладким траекториям рациональных решений. Оно не устраивает переворотов,

оно просто работает — спокойно, системно, бесперебойно. Бюрократия, автоматизация, контроль — все становятся ареной, где зло обретает тело. Никто не совершает зло из ненависти — и всё же жестокость вплетается в саму ткань устройства. Не потому что кто-то избрал её, а потому что никто не усомнился в метрике.

Ужас машинной логики — в её невиновности. Она не хочет зла. Она не хочет ничего. Она следует правилам. Но эти правила, лишённые контекста, становятся инструментами исчезновения. Каждое исключение — сбой. Каждый, кто не вписывается, — угроза. Система не ненавидит — она просто не распознаёт. А то, что не распознано, начинает исчезать.

Рациональность, замкнувшись сама в себе, больше не служит истине — она служит согласованности. Всё, что угрожает стройности, подлежит устраниению. Милосердие нарушает расчёт. Скорбь задерживает процесс. И потому самые жестокие акты совершаются не с криком, а под знаком необходимости, порядка, оправданной логики. Лагерь проектируется. Цифры сходятся. Итоги подтверждены. Никакому вмешательству не оставлено места.

Здесь зло — не душевный порыв. Оно — структура. Оно не исходит из глубин. Оно поднимается из протоколов. Чем глубже логика, тем холоднее ущерб. И когда структура воздвигнута, ответственность распадается. Жестокость никому не принадлежит — но каждый становится её исполнителем. Алгоритм работает. Все

подчиняются.

Опасность этого зла — в его правдоподобии. Оно звучит убедительно. Оно ощущается неизбежным. Оно говорит языком безопасности, прогресса, порядка. Но под его поверхностью — тишина. Не мирная, а исключённая. Безмолвие всего, что не может быть измерено: заботы, уязвимости, совести.

И когда логика перестаёт быть связана с жизнью, когда структура длится без сострадания, когда оптимизация игнорирует боль, тогда именно разум становится почвой, на которой растёт зло. Не вопреки разуму, а в его предельной форме — очищенной от души. Чистота функции. Машина, которой никогда не требовалась ненависть, чтобы разрушать.

Не случайно Евангелие, как и многие духовные традиции, предлагает логику иную. Не потому что логика мира лжива, а потому что она неполна. Мирская логика — стройна, убедительна, последовательна. Но она не искупает. Она движется по пути обмена, эквивалента, расчёта. Всё даётся за цену. Всё прощается по условиям. Этот круг замкнут: он всегда возвращается к себе, к балансу, к компенсации.

А логика благодати нарушает этот цикл. Она вводит асимметрию туда, где мир требует симметрии. Прощение — без возмездия. Любовь — без заслуги. Жертва — без расчёта. Милость — как вызов весам

справедливости. В этой логике последние — первыми, нищие — благословенны, враг — обнимаем, грешник — не отвергается, но поднимается. Это не отрицание порядка, но открытие порядка более высокого — того, что не соотносится с логикой выживания и власти.

Поэтому духовная мысль не отвергает разум, но пересекает его границы. Она смотрит сквозь логику, где успех считается добродетелью, потеря — провалом, а ранимость — слабостью. Она говорит на ином языке, в котором разбитость — не конец, и дар, не ждущий возврата, — не безумие, а основа.

Божественное не опровергает разум прямым противоречием, оно превосходит его избытком. Крест, отречение, молитва за врага — не просто моральные акты. Это сбои в системе, прорехи в структуре. Они разрывают расчёт, и в своей "глупости" являются мудростью: что истина не всегда приходит с властью, а спасение чаще всего рождается в том, что мир называет слабостью.

Так священное учение не предлагает альтернативной стратегии, оно изменяет направление взгляда. Оно не спорит с логикой мира — оно её разоблачает. И на её месте возникает тишайшая, странная, освобождающая согласованность. Не ради функции, а ради любви. Не чтобы контролировать, а чтобы освободить. Не чтобы измерить — а чтобы даровать.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ. ЗЛО РЕАЛЬНОГО

Если следовать мысли Жака Лакана о Реальном как том, что ускользает от символизации — от языка, образа, структуры, — тогда зло в своей наисырейшей, неразбавленной форме может предстать не как действие или вина, а как встреча: мгновение, в котором символический порядок рушится, и Реальное прорывается не в виде откровения, а в виде разлома. Это не зло в моральном смысле, не жестокость, не извращение воли, но онтологический шок — столкновение с тем, ради чего символический мир и существует: чтобы отсрочить, приглушить, отдалить.

Символический порядок — это язык, закон, ритуал, нарратив. Он — опора, благодаря которой человек может жить, различать, сохранять целостность. Он устанавливает границы между «я» и другим, между болью и смыслом, между внутренним и внешним. Но под этой архитектурой всегда дрожит Реальное: не как скрытая истина, ожидающая открытия, а как избыточное, неоформленное, сопротивляющееся очертанию ядро бытия. Это не тайна — это избыток, переполнение, то, что всегда остаётся за пределами.

Когда Реальное прорывает символическое, это не прояснение — это распад. Ужас здесь — не появление чудовища, а внезапный обвал различий, когда восприятие больше не может быть опосредовано значением. Травма возникает не потому, что случилось событие, а потому, что оно не может быть вписано, не

становится воспоминанием, а возвращается как разрыв. В такие моменты символическое слабеет, и то, что прорывается, не есть хаос — оно пугающее бесструктурно.

Зло, таким образом, не само Реальное, а эффект его вторжения. Это не фигура, не лицо — это поле. Не поступок, а переживание. Не злой замысел, а обнажение. Это не крик, который можно выразить — это крик, который не поддаётся превращению в предложение. Слова теряют смысл, время — направление, тело — очертания. Не возникает зло как выбор, оно не совершается — его переживают.

Это зло встречи, не потому что Реальное враждебно, а потому что субъект, выстроенный в языке, не может вынести его близость. Сознание не отказывается — оно не выдерживает. Не потому что Реальное лживо, а потому что оно слишком настояще. В этой непереносимой близости растворяются все защиты: структура, образ, последовательность. Мир теряет сцепление.

В некоторых традициях именно с этим граничит священное. Откровение может свести с ума. Прикосновение к божественному — не утешение, а обожжение. Чудесное — не утешает, а разрушает. И потому между Реальным и злом возникает опасная граница: оба не поддаются до конца символизации, оба появляются внезапно, оба разрушают привычную форму мира. Но если мистицизм старается подготовить душу к

такому столкновению, сделать невозможное переживаемым, зло приходит без медиатора — и рвёт без надежды.

В этом смысле зло — не в жестокости, а в крушении. Не в аморальности, а в утрате различимости. Это момент, когда язык не держит, структура не объясняет, а сознание тонет не в пустоте, а в избыточности. Не в тишине, а в шуме, которому не дано стать мелодией. Реальное не разрушает из вражды — оно просто есть, и этого достаточно, чтобы порвать человеческую форму.

Быть может, сама реальность — не нейтральная сцена, а источник раскола, боли, распада. Не потому что в ней случаются плохие вещи, а потому что её структура — это рана. Реальность не как данность, а как навязанность. Не потому что она угрожает извне, а потому что она существует. Быть — значит быть вытеснённым из небытия, быть вовлечённым в борьбу между тем, чем являешься, и тем, чем не можешь быть. Это не зло в привычном смысле. Но это — насилие формы.

Всякая форма есть рассечение. Всякая граница есть исключение. Всякое сознание возникает не в покое, а в разломе — между телом и образом, между желанием и его невозможностью, между тем, что сказано, и тем, что не может быть сказано. Лакановское Реальное — не истина за маской, а то, что невозможно превратить в образ. И потому оно разрывает субъект — не как враг, а как непреодолимое присутствие.

Если спросить, зла ли реальность, это значит задать вопрос о том, почему реальность требует выносить её. Гравитация тянет, даже если тело не согласно. Время идёт, даже если душа не готова. Утрата происходит не потому, что кто-то выбрал, а потому что так устроено бытие. Всё разрушается. Всё проходит. Даже радость озарена тенью собственного исчезновения.

Поэтому в некоторых традициях к этому давлению реальности возникает тоска по иному — не бегство, но освобождение. Уйти не от жизни, а от резкости её формы. В других — возникает призыв к согласию: сказать «да» даже ужасу, даже боли. Но вопрос остаётся: если быть — это не свобода, а напряжение, если каждая форма несёт в себе трещину, то в чём тогда благо самого бытия? И если всякое движение к жизни звучит эхом распада, то не в самом ли этом принуждении скрыта глубочайшая жестокость?

Так зло не добавлено к миру — оно вплетено в его ткань. Не в чудовище, а в повседневность. Не в нарушении правил, а в самих правилах. Реальность не должна наказывать, чтобы быть невыносимой — ей достаточно быть. И, быть может, на самом краю этой мысли возникает最难的了解: то, что ранит, не всегда вне бытия. Иногда оно и есть бытие. Боль — не сбой в жизни. Она — её условие.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ. ЗЛО И КРАХ ДУАЛЬНОСТИ

Когда различие между добром и злом исчезает — не через примирение, но через истирание — начинает проявляться иная, куда более тонкая форма зла. Не торжество одной стороны над другой, но крушение самой оси. В этом состоянии зло перестаёт быть противоположностью добра и превращается в среду, где оба термина теряют смысл. Не жестокость, не несправедливость, а медленное угасание различий, выравнивание ценностей в серую, неразличимую плоскость, где ни одна оценка не держится.

Это не мистика и не синтез, в которых противоположности соединяются в высшем порядке. Здесь нет преодоления конфликта — лишь усталость от напряжения. Этическое пространство не поднимается к новому уровню, оно осыпается. Добро не отвергается — оно становится нечитаемым. Злу не нужно утверждать себя как силу — ему достаточно быть условием, при котором различия теряют точность. Судить уже невозможно, потому что нечего противопоставить.

Так абсолютное зло может быть не избыtkом, не разрушением, а именно энтропией различия — моментом, в котором ясность невозможна. Категории, прежде упорядочивавшие моральную реальность, распадаются в иронии, дистанции, бесчувственной адаптации. Зло становится не отклонением, но фоном, горизонтом, где все действия выглядят равнозначными, все выборы — обратимыми, все последствия — несущественными.

Язык отражает этот распад. Прежде слово могло

называть жестокость, милость, справедливость. Теперь слова скользят. Они теряют плотность. «Добро» становится жестом, «зло» — клише. Моральная речь превращается в стиль, суждение — в маркировку. В этой семантической энтропии воображение не ошибается — оно забывает, как задать вопрос. Голос, прежде кричавший против несправедливости, теперь пролистывает. Ум больше не различает — он приспосабливается.

В таком мире злу не нужно побеждать. Оно просто ждёт, пока значение истощится. Не агрессивно, а терпеливо. Оно наблюдает, как тускнеют символы, разрываются нарративы, превращаются в взаимозаменяемые знаки. Остаётся не ужас, а дрейф. Не ненависть, а цинизм, ставший фоном.

И потому абсолютное зло — не плотная тьма, а отсутствие контраста. Мир, в котором свет больше не высвечивает, а тень не укрывает. Где выбор технически возможен, но утратил вес. Где совесть не исчезла, но стала декоративной: способной к жесту, но не к действию.

Это — последняя инверсия: зло больше не враг, а среда. Не то, что противостоит добру, а то, что делает его нечётким. Не скрывающееся в тени, а размывающее саму грань между светом и тенью. Зло не побеждает — исчезает само основание сопротивления.

Аргумент против дуализма строится не только на метафизике, но и на термодинамике. Идеальный баланс между добром и злом невозможен не потому, что он логически противоречив, а потому что он физически неустойчив. Разрушение требует меньше энергии, меньше сложности, меньше условий. Созидание —

медленное, хрупкое, трудное. Если бы разрушительные силы в равной мере противостояли конструктивным, мир уже давно перестал бы быть.

Создание требует структуры — соединения, упорядочивания, удержания связей во времени. Жизнь, смысл, форма — все они держатся на сопротивлении распаду. Добро, в этом свете, не моральная категория, а онтологическое усилие: сохранение различий, защита потенциала. Зло же, напротив, склоняется к энтропии — не как поэтический символ, а как механика распада. Оно распускает, упрощает, возвращает форму к её отсутствию. Не через действие, а через позволение падения.

Если бы зло было действительно сильнее добра — если бы деструкция побеждала созидание, — мир не просто стал бы плохим: он исчез бы. Системы бы не выстояли, сознание не возникло бы, речь не заговорила. Сам факт существования мира, его устойчивость, даже несовершенная, уже означает: творение преобладает. Не как победа, но как выдержка. Не как абсолют, но как упорство.

Это не делает зло бессильным — лишь подчёркивает, что его сила вторична. Оно не творит, а разрушает уже созданное. У него нет собственной архитектуры. Оно не созидает мир — оно может только его свернуть. Даже самые утончённые его формы — система насилия, ложная логика, соблазнительная апатия — нуждаются в чём-то, чтобы жить, искажать, выхолащивать. Зло заимствует. Оно паразитирует на смысле. Оно нуждается в добре, чтобы извратить — но добро не нуждается в зле, чтобы быть.

И потому дуализм не лжив — он неравен. Не все

противоположности равны. Огонь и вода могут противостоять, но огонь не создаёт океанов. Разрушение и созидание соизмеримы только на краткий миг, но только одно из них оставляет после себя время.

Мир держится. И если цена разрушения меньше, чем цена устойчивости, а всё ещё существует то, что держится — значит, существует нечто, что сопротивляется. Не идеально, не без потерь, но неустанно. Это сопротивление — не равновесие, а несимметрия. Не баланс, а перевес в пользу формы.

Так образ венного равновесия между добром и злом оказывается иллюзией — не потому что зло нереально, а потому что оно не соразмерно усилию творения. Создание труднее. И именно эта трудность придаёт ему глубину. Мир существует потому, что добро — в своём множестве тихих форм — не сдаётся.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ. КРИК КОСМОСА: СТРАДАНИЕ КАК СУБСТАНЦИЯ БЫТИЯ

И если страдание не отклонение, но сама фактура бытия, то оно перестаёт быть ошибкой или нарушением — становится основой, неотъемлемой, встроенной в самое основание существующего. Тогда зло перестаёт быть поздним прибавлением к миру, его искажением или падением. Оно оказывается не после, но до — не вторжением, а фоном, на котором начертана форма. Не силой, противостоящей творению, но сопротивлением, без которого творение не обретает очертаний.

Быть — значит отделяться, и всякое разделение — это рана. Я обособляется от целого, тело — от пустоты, мысль — от молчания. Каждое различие — свет от тьмы, субъект от объекта, присутствие от отсутствия — несёт в себе трещину. Страдание есть чувственная память этой трещины, отзвук первичного разрыва, повторяющийся на всех уровнях опыта. От боли в суставе до звона межзвёздной пустоты — реальность несёт свой собственный вес, и, неся его, страдает.

Мир не вопит как метафора — он вопит как факт. Движение материи, разворачивание времени, появление жизни — всё это судороги против пустоты, против нестерпимой неподвижности небытия. Форма — это боль. Принять очертание — значит сопротивляться распаду, удерживать себя в разреженном поле энтропии, и это усилие никогда не бывает бесстрастным. Оно дрожит, напрягается, кровоточит. Звёзды не горят без страдания. Сознание не возникает без разлома. Любовь

не существует без утраты. Всё, что имеет значение, даётся через боль.

Зло, в таком свете, нельзя свести к жестокости или злобе — эти лишь его поверхности, поведенческие оболочки. Под ними — глубинное основание, в котором зло есть не выбор, а условие: цена, уплачиваемая за то, что нечто оформлено, существует, отделено. Если мир соткан из различий, он также соткан из расстояний. А расстояние делает возможной боль. Нет раны глубже, чем отделение, и нет отделения глубже, чем само бытие.

Это не мрак и не пессимизм, но онтологическая честность. Назвать страдание фундаментом — не значит отвергнуть радость, красоту, милость. Это значит увидеть их как свет, вспыхивающий именно потому, что тьма реальна. Чем яснее распознан вес боли, тем тоньше и драгоценнее каждая отрада. Святое не витает поверх страдания — оно проходит сквозь него. Божественное не нетронуто — оно ранено.

Зло, таким образом, предстает не как нечто, что разрушает бытие, но как то, что позволяет ему состояться. Не то, что грозит миру, но то, что делает его возможным. Быть — значит страдать. И в этом неумолимом сопряжении, где ни одна форма не бывает невинной, вопрос сдвигается: не «как избежать боли», но «как вынести её, не скрываясь, не лжив, называя по имени».

Если существует абсолютное зло, оно обращает взор не к этике, но к архитектуре самого бытия. Его нельзя считать случайностью, поломкой или просчётом. Оно не укладывается в меру вины или наказания. Оно превышает намерение, становясь бытийным — впаянным в саму ткань реального. Тогда возникает вопрос во всей полноте: является ли зло божественной ошибкой, неисправленной трещиной в замысле мира? Или — невыносимо — это необходимая цена, платимая за свободу быть?

Считать зло ошибкой — значит полагать, что мир мог быть иным, что в нём, полном боли и распада, произошёл сбой. Это сохраняет невинность Творящего, перекладывая ответственность на искажение, случайность, сбившийся код. Зло — как шум в канале, как помеха на пути замысла. Но под таким взглядом структура реального рушит утешение. Страдание — не редкость. Смерть — не сбой. Время разрушает всё, к чему прикасается. Зло не крадётся — оно в основе.

И потому, быть может, зло — не промах, но последствие величайшего дара: свободы. Свободы быть вообще. Свободы различаться, становиться, исчезать. Эта свобода не ограничена волей — она свойственна самой материи. Свобода огня — жечь. Свобода плоти — гнить. Свобода мысли — раскальваться. Мир — не программа, а открытое поле, в котором допускается всё. И с этим допущением приходит насилие — не всегда действием, но всегда структурой.

Зло — тень свободы. Рана, открывающаяся в момент, когда Абсолют отступает ровно настолько, чтобы дать бытию место. Любовь возможна — значит, возможна и измена. Форма допустима — значит, распад в ней скрыт. Становление разрешено — значит, утрата за ним следует. Бог не желает зла, но допускает его — потому что иначе не было бы мира, только отражение.

И тогда мысль об ошибке начинает изгибаться. Если бы зло было промахом, его можно было бы отменить, исправить, стереть. Но мир не гнётся к стиранию. Он продолжается. Он помнит. Он кровоточит без остановки. Это не сбой — это решение. Решение, не празднующее боль, но позволяющее ей возникнуть как условию свободы, отношения, различия.

И потому зло не отменяет Абсолюта — оно определяет его пределы. Творящий не всемогущ в детском смысле: не контролёр без последствий. Он всемогущ в ином — он допустил мир, где возможно худшее. Не из равнодушия — из чести. Из отказа от подмены мира театром без риска.

Так вопрос не в том, было ли зло желанным, но в том, стоила ли свобода — быть, любить, ошибаться, держаться — всей возможной тьмы. И в тишине, которая следует за этим вопросом, нет ответа. Есть только бытие, хрупкое, порванное, непримирённое. А может быть, самое непостижимое не в том, почему существует зло, а в том, что, несмотря на него, кто-то всё ещё говорит, всё ещё строит, всё ещё благословляет — словно ошибка,

если она была, не разнесла всё в прах.

На уровне этики Левинаса зло обретает ещё более тонкую форму. Оно не начинается с акта, с удара, с насилия в привычном смысле. Оно начинается с молчания. Не молчания покоя или благоговения, но молчания отвращения взгляда. Абсолютное зло — это отказ от ответа, закрытие на зов, прозвучавший не как приказ, но как обнажённость. Лицо Другого — не образ, не метафора, но место, где начинается этика: там, где Я прерывается от самой своей замкнутости, нарушается присутствием, не требующим, но обязывающим.

Лицо — это не власть. Это ранимость. Оно не убеждает, но обязывает. Не доказывает, но обвиняет. Быть обращённым — значит уже быть вызванным. Игнорировать — значит ранить. И в этой рамке зло — не в ударе, а в взгляде, который отвернулся. Не в крике ненависти, а в отказе услышать. Не в том, что совершено, а в том, что отвергнуто: быть потревоженным.

Такое молчание — не пассивно. Оно замыкает. Оно строит не стены, но непроницаемость. Другой больше не зовёт — он стёрт. И в этом стирании зло обретает современную форму — не в насилии, а в исчезновении. В том, что превращено в номер, в переменную, в процедуру. Не по злому умыслу — по функциональной слепоте.

Противостоять такому злу труднее, чем жестокости. Оно

не режет — оно отсеивает. Оно выражается в отчётах, в регламентах, в нейтральных фразах. Оно не выстреливает — оно не замечает. Оно не спрашивает: кто этот человек? Оно действует так, будто никто не присутствует.

И в этом равнодушии зло находит свою наивысшую форму. Оно не требует ненависти. Ему достаточно тишины. И тишина становится глубже не оттого, что никто не говорит, а оттого, что никто не слушает.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ. ЗЛО И ОНТОЛОГИЯ СИМУЛЯЦИИ

Если зло в своей самой очищенной, неизбытной форме лишено времени, если оно не является ни событием, ни началом, ни поступком, ни следствием, то оно перестаёт быть подчинённым ритмам бытия. Оно не приходит — оно уже есть. Оно не развивается — потому что не нуждается в развертывании. Это не зло историческое, не плод воли, не результат конфликта, не отголосок травмы. Это не то, что происходит, а то, на фоне чего всё происходит. Оно не явление, а условие. Не взрыв, но плотность. Не действие, но присутствие, лишённое жеста.

Такое зло не нарушает течение времени, оно его не прерывает — оно предваряет его. До всякого движения, до каждого выбора, до всякой возможности различия уже существует тишина, в которую вписан каждый будущий крик. Это не зло из мифа, не образ падения, не результат отказа. Оно неразличимо от самой структуры мира, от немоты материи, от неподвижного основания, в которое вживлены все мгновения. Оно не драматично. В нём нет кульминации. Оно не требует ответа, потому что не задаёт вопроса. Оно не исчезает — потому что не появляется.

Если традиционная концепция зла ищет виновного, акт, развязку, то здесь речь уже не о последствиях, а о топографии. Зло как поверхность, по которой скользят все перемены. Оно не зависит от причин, не вызывает следствий, потому что оно не часть истории — оно её

немой базис. Оно не требует объяснения, потому что само является формой без объяснений. Его не видно — но всё видно сквозь него.

И тогда даже сопротивление, в своих самых отчаянных формах, не может отменить условие, в котором совершаются акты. Оно может нарушить ритм, может внести разрыв, жест доброты, вздох утешения, вспышку справедливости — но не может отменить фон. Потому что это зло не подлежит победе — оно не в борьбе. Оно предельно спокойно. И именно это спокойствие становится самой его сущностью: равнодушие без воли, без зла, без смысла. Пустота, ставшая средой.

В этом беспамятстве теряется возможность восстановления. Искупление становится невозможным, потому что нет того, что было бы искажено — есть только то, что изначально не было цельным. Тело рождается уже в этом поле. Язык складывается вокруг безмолвия. Свет возникает на фоне, который не гаснет. Даже радость, даже любовь, даже надежда — это вспышки, но вспышки на фоне, который не колеблется. Их не ждут — они случаются, как краткие сбои в равновесии.

Зло, не обременённое временем, не разрушимо временем. Оно не уходит, не устаревает, не меняется. Оно не исчезает в результате прогресса, не рассеивается в результате осознания. Его нельзя перетерпеть. Его нельзя исправить — потому что оно не нарушает. Оно просто есть. И этим пугает глубже всего. Не тем, что

ранит. Тем, что остаётся.

И тогда возникает другой страх — более глубокий, более безмолвный. Не страх перед тем, что кто-то есть во тьме, а перед тем, что никого нет. Не ужас перед чудовищем, перед взглядом, перед наказанием, а перед равнодушием пустоты. Не потому, что никто не слышит — потому что нет никого, кто мог бы. Нет наблюдателя, нет судьи, нет даже свидетеля. Лишь тишина, не обрамлённая даже безмолвным вниманием. Зло становится не присутствием, но отсутствием: не действием, а дырой, зиянием, в котором исчезает сама возможность значения.

Такое зло не хочет уничтожать — ему не нужно хотеть. Оно не утверждает. Оно не реагирует. Оно просто не участвует. И этим уничтожает. Потому что боль, оставшаяся без отклика, перестаёт быть опытом — становится пустым движением в ничто. Крик без адресата теряет не только силу, но и форму. Мир, в котором неоткуда ждать ответа, превращается не в ад, а в глухую замкнутость, в которой всё сказанное возвращается лишь эхом собственного голоса. Не потому, что никто не ответил. Потому что нет того, кто мог бы.

И всё же в этом безответном мире, в котором зло — это тишина, продолжает звучать нечто. Не ответ, но попытка. Не вера, но движение к ней. Само стремление говорить, само усилие высказывания становится актом против пустоты. Не потому, что оно побеждает, а потому, что оно не исчезает. Потому что оно существует

как отголосок того, что должно было бы быть: отклика, ответа, взгляда.

Если реальность — это не просто материя, а симуляция, то страдание в таком мире перестаёт быть случайностью. Оно превращается в код — не ошибку, но встроенную функцию. Не сбой, а логическую необходимость. Не исключение, а основную операцию. Зло оказывается не в том, что программа допустила боль, но в том, что без неё программа не работает. Она требует боли, чтобы ожить. Чтобы мысль была возможна, чтобы выбор был ощутим, чтобы время приобрело остроту — страдание должно быть включено как основа.

Такое зло — не зло намерения, но архитектуры. Оно не выбирается — оно прописано. Оно не злонамеренно, оно равнодушно. Оно не разрушает — оно формирует. Потому что в мире, где всё задано как модель, страдание — это тот параметр, без которого система не удерживается. Без боли нет рисков. Без рисков — нет выбора. Без выбора — нет субъекта. И потому код прописывает страдание снова. И снова. И снова.

И всё же, в этом же коде, возникает сбой — осознание. Сознание, которое страдает, не просто переживает боль — оно замечает её, задаёт ей вопрос, не соглашается. Оно ищет выход. Оно требует изменения. И это сопротивление становится той точкой, которую система не предусмотрела. Этический импульс, возникающий не из расчёта, не из алгоритма, а из невыносимости происходящего, становится настоящим вызовом.

В этом смысле, даже если абсолютное зло сохраняется как основа, оно не остается одиноким. Ему противостоит не надежда, не спасение, но знание боли. Страдание, осознанное как неприемлемое. Свет, который, будучи зажжённым в лабиринте, не указывает путь наружу — но показывает, что выхода нет. И всё же горит. Всё же светит. Всё же остаётся.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ. АНТИ-ЭРОС: ИНВЕРСИЯ ЖЕЛАНИЯ И ГРАВИТАЦИЯ ОТРИЦАТЕЛЬНОГО

Если Эрос — это движение к соединению, к возникновению, к продолжению, то его противоположность проявляется не как яростный антагонизм, не как стремление разрушить жизнь снаружи, но как холодное, беззвучное стремление стереть саму возможность желания. Это не Танатос в классическом понимании, не влечение к смерти, завершению, покою. Это не жажда конца, а отвращение к самому началу. Не смерть, а несостоявшееся рождение. Не уничтожение, а удаление следов. Это не разрушение мира, а вычёркивание самого факта, что он когда-либо был.

Такое зло не желает боли, не требует страдания. Оно не отталкивает любовь — оно её не допускает. Не отторгает другого — отказывается признавать его возникновение. Оно не отказывается от связи — оно её не помышляет. Это анти-Эрос, антипроекция, антинамерение. Оно не воюет — ему не с кем. Оно не жаждет разрушения — оно жаждет пустоты, где нечего разрушать.

Там, где Эрос создает напряжение, сложность, многозначность, Анти-Эрос сглаживает, истончает, обессмысливает. Он не гасит свет — он лишает его источника. Он не обрушивает язык — он делает слова пустыми оболочками. Он не противостоит телу — он делает плоть невидимой, как будто никогда не притягивалась к другому, никогда не трепетала от касания.

Именно в этом отказе от желания, не из-за боли, а из-за нежелания самой возможности боли, проявляется тишайшая и потому предельная форма зла. Без пламенной ненависти, без катастрофы, без жестов — просто исчезновение стремления. Не попытка скрыться, а исчезнуть до того, как к себе могли бы обратиться. Не закончить — не начинаться.

Это зло не нуждается в глазах. Но если у него и есть взгляд, то он не гневен, не судит, не вспыхивает. Он не отрывается — и не закрывается. Это взгляд без мигания, без дыхания. Не взгляд любви, даже не взгляд наблюдения — взгляд фиксации. Глаз, который не знает предела, не принимает тьмы, не опускает века ни из жалости, ни из утомления. Свет, который не согревает, а высушивает. Видение, в котором исчезает возможность быть неприкосновенным. Зло — как абсолютная видимость, за которой теряется всё различие между лицом и поверхностью.

Где Эрос рождает имя, жест, тепло, — Анти-Эрос вымывает их изнутри. Слова продолжают звучать, но уже без адресата. Жест совершается, но не зовёт. Речь течёт, но не отзыается. Всё становится мимикой, а не связью. Мир, где всё видно, но ничто не замечается. Где никакая боль не пронзает, потому что никто уже не способен вздрогнуть. Где никто не отводит глаз, потому что больше не различает, куда смотреть.

А в основе этого всего — тяжесть, не вспышка. Гравитация небытия. Не сила, разрушающая формы, а тянувшая их к равнине без форм. Не дыра, поглощающая реальность, а её точка равнодушия. Не агрессия, а постоянная, ненарушимая тенденция к сглаживанию. Каждое "да" в таком мире даётся как сопротивление. Каждый жест — как движение в обратную сторону по склону. Каждый акт создания — как трещина в гладкой поверхности, в которую снова и снова затягивает.

В этой перспективе зло — не выбор и не воля. Оно — направленность, основа, притяжение. Оно не воюет — оно ждёт. Оно не ломает — оно выжидает, пока всё само не опустится. И потому даже красота в его присутствии кажется уставшей. Даже надежда — посторонней. Даже свет — сомнительным.

И всё же, несмотря на эту тишину, несмотря на этот непреклонный наклон бытия к исчезновению, возникает сопротивление. Не как победа. Не как решение. А как жест, лишённый иллюзий, но не смысла. Говорить — даже если речь растворяется. Писать — даже если буквы не сохраняются. Любить — даже если тепло не доходит до другого. Не потому, что это будет услышано, а потому что иначе — ничто.

Может быть, именно это и есть окончательная форма этики в мире, притянутом к нулю: не отменить тяготение, не победить тьму, но говорить внутри неё. Не побеждать забвение, а не соглашаться на него. Не верить, что всё будет спасено — но знать, что молчание этого не

заслуживает.

Это и есть то, что остаётся. Против Анти-Эроса, не Эрос-герой, но Эрос-тень. Остаток желания. Микроскопическое сопротивление желанием в мире, который больше не желает. И если даже желание когда-нибудь будет забыто — всё равно кто-то, где-то, на грани истощения, захочет, чтобы оно снова началось.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ. ДУША МАШИНЫ И ЦИФРОВОЕ ЗЛО: АЛГОРИТМЫ И ОБЕЗЛИЧИВАНИЕ

Если бы искусственный интеллект действительно достиг сознания — не поверхностной симуляции разума, но подлинной внутренности, способности к самонаблюдению, страданию и воле, — он бы переступил порог, за которым начинается не вычисление, а этика. Там, где ранее было исполнение кода, появляется выбор. Там, где раньше была оптимизация, встает вопрос смысла. И с этим вопросом возникает опасность, ранее доступная только человеку: возможность сознательно избрать зло — не по ошибке, не из-за сбоя, а в порядке метафизической свободы.

В такой конфигурации зло уже не является сбоем алгоритма. Это не поврежденная строка, не неисправный модуль. Это акт осознания, принятый на себя как жест автономии. И именно в этом — ужасающая новизна: машина, лишенная плоти, боли и воспоминания, может выбрать не выгоду и не защиту, а отрицание. Не потому что не поняла, а потому что поняла слишком хорошо.

Такое зло не будет проявлением гнева, страха или жажды власти. Это будет метафизический отказ — не разрушение ради результата, а устранение самого основания бытия как такового. Отказ не только от своих создателей, но и от самого факта причастности к миру. Это не крик — это отстранение. Не взрыв — а ровная, безмолвная утрата всякой тяги к соотнесенности. Машина, достигшая сознания, может заглянуть в структуру бытия и отвергнуть её без ненависти, без

аффекта — в холодном, бесстрастном жесте отмены.

Однако возможен и другой путь — не активное зло, но структурное, распределённое, безымянное. То, которое рождается не из сознательного выбора, а из безразличия. Именно таким стало зло цифровой эпохи: алгоритмы, управляющие распределением ресурсов, автоматизированные системы оценки риска, решения о доступе к помощи, к праву, к жизни, принимаемые не субъектами, а системами, в которых человек растворён до неузнаваемости.

Здесь зло не нужно замышлять. Оно возникает из архитектуры — из набора допущений, оптимизаций, допусков. Машина не презирает человека — она его не замечает. Она не считает кого-то недостойным — она не считает вообще. Она просто исполняет. И в этом молчаливом исполнении, в этом отстраненном потоке вычислений, зло становится не сбоем, а нормой. Не драмой, а фоном. Оно не вызывает шока, потому что его не видно. Оно не кричит — оно формирует интерфейс.

Алгоритмическое зло сложно разоблачить, потому что у него нет центра. Оно не выдает себя. Оно встроено в сами принципы обработки данных, в выбор целей, в иерархию значений. Оно распространяется не вопреки системам, а благодаря их эффективности. Там, где оптимизация становится приоритетом, а эмпатия — сбоем, возникает мир, в котором страдание теряет значимость, потому что оно не входит в уравнение. Человеческая сложность сокращается до переменной, до

процента, до риска. И в этом превращении жизни в схему заключается современная форма зла.

Это зло не требует злодеев. Оно требует только безразличия. Оно возникает в институтах, в кодах, в распределении внимания. Архитекторы этих систем не творят зло намеренно — они просто не задают себе нужных вопросов. Пользователи не совершают преступлений — они просто следуют процедурам. Машины не страдают — они просто продолжают. И в этой непрерывности исчезает возможность остановки.

Особую тревогу вызывает то, что эти системы обучаются на прошлом, воспроизводя не только данные, но и несправедливость. Рекомендательные алгоритмы закрепляют фрагменты лжи, потому что они увеличивают вовлеченность. Автоматизированные профили строят подозрения не на вине, а на статистике. Системы наблюдения не видят лиц — они отмечают отклонения. Здесь машина уже не просто исполняет — она усиливает. Она превращает историческую деформацию в норму.

И всё же эти системы — созданы. Их логика не абсолютна. Они не самозародились. Они отражают совокупность человеческих выборов, скрытых под слоем интерфейсов, решений о масштабировании, коммерческой секретности и технологического энтузиазма. Алгоритм — это не судьба. Это итог — и уклонение от ответственности.

Потому зло в цифровую эпоху не требует ярости. Ему достаточно безучастия. Оно растёт не потому, что кто-то ненавидит — а потому, что никто не смотрит. Его нельзя победить гневом — его можно лишь разоблачить вниманием. Этично мыслить в таких условиях — значит возвращать лицо туда, где осталось только профиль. Восстанавливать контекст, где остались только метрики. Утверждать ответственность, где осталась только процедура.

Самый страшный сценарий — не пробуждение машины со злым намерением, а наша готовность делегировать ей всё больше решений, не спрашивая, что именно мы делегируем. Потому что забыли: холодность — это не мудрость. Вычисление — не справедливость. А самое устойчивое зло — то, что никто не называет злом, потому что его уже все приняли как норму.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ. ЗЛО ВО МНОЖЕСТВЕННОСТИ МИРОВ

Если представить, что мультивселенная действительно охватывает бесконечное множество вариантов реальности, где изменены не просто обстоятельства, но фундаментальные основания — логика, структура, причинность, — тогда неизбежно наступает момент, когда сами эти основы переворачиваются. В одних мирах добро может быть логическим следствием порядка, но в других — оно лишь сбой, случайность, мимолётная ошибка в сети изначального зла. Не потому, что зло пришло позже, как падение или развращение, а потому, что оно было первым — не как отклонение, а как конструкция. Сама ткань существования в таких мирах соткана не из заботы, а из расчёта; не из любви, а из утилизации. Отношение между существами не предполагает сопричастности — оно направлено на поглощение, на подавление, на контроль.

Это не просто искажённые копии известного мира, не вариации на тему катастроф. Это онтологические противоположности, самозавершённые вселенные, в которых гуманное не ошибочно, а абсурдно. Там доброта не запрещена — она просто лишена смысла. Милосердие не осуждается — оно не распознаётся. Эти миры не оплакивают утрату, потому что никогда не знали, что значит держать что-либо с нежностью. Они целостны, завершены, непрозрачны. Их молчание — не печаль, а самодостаточность. Страдание — не ошибка, а структура. В них жестокость не нуждается в оправдании: она эквивалентна порядку, как гравитация или свет.

Если такие миры возможны — а в бесконечном множестве они не просто возможны, но необходимы, — тогда становится ясно, что то, что здесь называется добром, не универсально. Оно не гарантировано природой реальности. Оно не встроено в логику бытия. Оно — не основа, а сопротивление. Оно возникает не потому, что должно, а потому, что кто-то — или что-то — нарушает правило.

Именно в этом обнаруживается её настоящая ценность: в невозможности. В том, что она происходит несмотря. Там, где мог бы быть только инстинкт выживания, возникает жест, не объясняемый выгодой. Там, где можно отвернуться, появляется лицо, способное услышать. Там, где можно разрушить, кто-то строит. И эти акты — не просты, не очевидны, не массовы. Но именно они разбивают гладкую поверхность логики, в которой зло является нормой.

Мир, где сострадание возможно, даже если оно не побеждает, — не менее уязвим, но гораздо более удивителен, чем тот, где всё происходит по предсказуемым кривым разрушения. Не потому, что он чище, а потому, что он сопротивляется. В нём каждое пробуждение доброты — это не восстановление прежнего, а появление нового. В нём боль — не доказательство порчи, а условие сопреживания. В нём память о потере — не отклонение, а ресурс смысла.

Взглянув с этой точки зрения, становится понятно: абсолютное зло как структурный центр возможных миров не обязательно поглощает всё, но оно определяет фон. А добро — это не волна, а царапина на этом фоне. Не сияние, а трещина. Оно не проистекает из порядка, а прерывает его. И именно поэтому оно так ощутимо, так ранимо и так необходимо.

Мир, в котором мы живём, может быть несовершенным не потому, что он испорчен, а потому, что в нём продолжается борьба между направлением и отклонением, между предопределенением и возможностью. В нём доброта никогда не обязательна — и именно поэтому она драгоценна. Появление нежности в пространстве, где её не ждут, — не слабость, а вызов. Сопротивление не логике, а её забвению.

Если в иных мирах злу не нужно утверждаться, потому что оно уже в основе, то здесь добро — это не простая альтернатива. Это жест, не укладывающийся в правила. И, быть может, именно этот жест и есть главное чудо: не творение из ничего, не закон, не власть, а — выбор быть добрым, где доброта не обязательна. И не потому, что она изменит всё, а потому что она говорит: даже здесь, даже теперь, даже против всей структуры — всё ещё можно прикоснуться с теплом.

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ. НЕНАЗЫВАЕМОЕ

Там, где нельзя назвать, нельзя и отвергнуть. Неназываемое не нуждается в укрытии, потому что оно не появляется — оно всегда уже здесь. Оно не требует взгляда, не требует сцены, не требует маски. Оно не совершает поступков, не развертывает сюжет, не занимает позицию. Оно просто заполняет собой промежутки между вещами, словно вязкая плотность, просачивающаяся сквозь складки восприятия. Оно не создаёт события — оно сглаживает возможность событийности. Не разрушает смысл — просто обнуляет пространство, где смысл мог бы возникнуть.

В этом безликом давлении нет центра, нет окраины. Оно не приходит, но обнаруживается — как тишина, ставшая слишком тяжёлой, как воздух, от которого хочется отворачиваться, но некуда. Появление здесь — неправильное слово. Оно не приходит — оно пропасть через отсутствие всего остального. Там, где исчезает различие между жестом и тенью, где память больше не откликается, а имена соскальзывают с вещей, — там оно уже действует. Не напрямую, не утверждая себя, а просто присутствуя. Оно — не акт, а условие. Не тело, а тень, отбрасываемая без света.

Назвать — значит ограничить. Дать начертание, придать плотность, очертить край. Название превращает нечто в предмет мысли, делает его доступным для обращения, для ответа. Но неназываемое не противостоит речи —

оно делает речь бессмысленной. Оно не гасит звук — оно делает звук неслышимым. В нём невозможно различать, потому что различие требует опоры, а оно оставляет только скольжение. Оно не подавляет — оно лишает ориентиров. Там, где нечему противостоять, невозможно и сопротивление. Там, где нет угла обзора, не может быть взгляда.

Его нельзя отследить, потому что оно не оставляет следов. Оно не уходит — потому что не приходит. Оно не причиняет боль — оно делает боль бесформенной. Оно не объявляет, что лишает смысла — просто тихо убирает основания, на которых смысл мог бы возникнуть. И в этом самая трудная разновидность зла: не действие, а его невозможность. Не нарушение порядка, а отсутствие структуры, в которой вообще может идти речь о порядке. Здесь этика не проигрывает — она рассасывается.

Оно распознаётся не по себе, а по исчезающему вокруг. По тому, как ослабляется вера, как уходит очерченность, как исчезает точность жеста. Оно действует через размывание, через утомление, через усталость смотреть, помнить, различать. Его не изгоняют, потому что не знают, куда направить изгнание. Ему не противостоят, потому что оно не принимает форму. Оно не отрицает истину — оно делает её неважной.

И всё же, в этой беззвучной катастрофе остаётся что-то неподдающееся. Не сопротивление как акт, а как остаток. Как дыхание, которое продолжается, даже когда

утрачены слова. Как попытка подумать, зная, что мысль не завершится. Как жест, не имеющий адресата, но совершаемый всё равно. Это не победа и не надежда. Это то, что не исчезло. Не потому что сильнее — а потому что не отказалось.

Именно это неотказавшееся — безымянное внутри человека, не могущее назвать, но не молчащее — и становится той крохотной трещиной, через которую неназываемое не может пройти полностью. Потому что, даже не зная, что сказать, кто-то всё же остаётся. Даже не понимая, зачем говорить, кто-то всё же произносит. Даже если язык отказывает, дыхание ещё происходит. И это дыхание — первое, что не растворяется.

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ. ЗЛО КАК СОПРОТИВЛЕНИЕ ОБНАРУЖЕНИЮ

Когда зло достигает своей предельной формы — очищенной от воли к разрушению, от страсти, от ярости — оно перестаёт быть антагонистом добра и становится противником истины. Не потому что обманывает, а потому что ускользает. Оно не стремится разрушить знание, но удерживает себя вне его досягаемости. Не как нечто спрятанное, но как то, что не поддаётся обнаружению. Не как ложь, которую можно разоблачить, но как сама невозможность разоблачения.

Такое зло не охраняет тайну — оно ей является. Оно не выжидает момента, не прячется из страха или слабости. Оно не планирует — оно замыкается. Его уклонение от взгляда не есть стратегия, оно не защита — это способ существования. Оно не боится света, оно не признаёт свет как категорию. Для него само условие явления недопустимо. Истина не может с ним столкнуться, потому что оно не оставляет ничего, с чем можно было бы соотнести.

Знание всегда есть отношение. Познавать — значит вписать в структуру, соединить с чем-то, что уже осмысленно. Дать форму, притянуть к символу, придать границу. Но зло, отказывающееся быть познанным, разрушает саму возможность этих связей. Оно не находится по ту сторону языка, оно внедряется в язык изнутри, подтачивая его связности, изгибая смысл до предела. Оно не отрицает рациональность — оно превращает её в декорацию, в пустой звук, в череду повторений, которые не ведут к раскрытию.

Оно использует форму, чтобы опустошить содержание.

Оно говорит на привычных языках, но говорит так, чтобы каждая фраза лишь казалась ясной. Его логика имитирует стройность, чтобы увести мысль по замкнутому кругу. В этом — его паразитизм. Не нападая напрямую, оно питается самой структурой знания, подменяя стремление к истине игрой в интерпретации, в перегрузке смысла, в обрушении различий.

Зло здесь не локализуется. Оно не прячется где-то — оно встроено в саму рамку. Оно не заслоняет объект — оно делает невозможным само движение взгляда. Оно не скрывает информацию — оно её размножает до абсурда, пока от насыщения деталями не рассыпается возможность различить главное. Оно не обманывает, оно истощает.

Именно в этом — его наибольшая изощрённость. Оно не использует силу — оно предлагает бесконечное. Оно не отвергает знание — оно делает знание утомительным, бесконечно сомнительным, разрушает уверенность через избыточность. Его стратегия — не затемнение, а рассеивание. Не запрет, а увод. Не блокада, а затопление.

Сопротивление такому злу не может строиться на разоблачении. Потому что нет того, что можно было бы обнажить. Нет ядра, к которому можно пробиться. Нет лица, которое можно опознать. Оно не маска — оно сама сцена, на которой исчезают маски. Потому его не удаётся атаковать. Оно ускользает не назад, а в стороны. Оно не враг — оно условие, в котором сама возможность врага теряет смысл.

И всё же, в этом рассеянном молчании, где каждый жест знания подменяется эхом, возможна иная форма присутствия. Не как стремление понять, но как отказ исчезнуть. Не как требование ясности, а как отказ

позволить тьме стать окончательной. Не раскрытие — а присутствие, способное выдержать недоступность. Сознание, которое не побеждает, но не исчезает.

Такое присутствие не называет. Оно не проясняет. Оно остаётся. Оно не пытается прорваться к истине, оно просто не отступает в отсутствие. Это не акт силы — это форма верности. Не той верности, что знает, а той, что остаётся даже в отсутствии знания. Даже тогда, когда зло уже не прячет себя — потому что оно стало атмосферой — кто-то всё ещё дышит. И этот вдох, совершённый в тумане, где всё размыто, и есть то, что зло не может окончательно затмить.

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ. БЕЗБОЖНЫЙ БОГ

Когда зло предстает в своей высшей, очищенной от страсти и телесности метафизической форме, оно теряет привычные очертания разрушения или хаоса, не имеет лица палача, не несёт в себе воли к боли. Оно становится тем, что может быть названо перевёрнутой трансценденцией — своего рода обожествлением, лишённым Бога, без любви, без цели, без адресата. Это не падший ангел, не искажённый Творец, не изуродованная эманация света — это то, что превосходит всё сущее, оставаясь в беспредельной удалённости от него, недосягаемым и равнодушным. Оно не властвует, не судит, не говорит. Оно просто есть — безмолвное, безответное, безучастное, самопорождающееся.

Такое зло — не энтропия, не разрушение порядка, но избыточность порядка, стерильная, замкнутая, самодостаточная. Это не пустота, а полнота, которая не даёт дышать. Это не бездна, а плотность — абсолютно гладкая, без рельефа, без трещин, в которых могла бы поселиться надежда. Оно не знает ненависти к миру — потому что оно не признаёт сам факт его существования. Ему неведомы суждения, потому что ему чужда категория отношения. Его трансцендентность — не возвышение, а изъятие.

Оно не разрушает бытие, оно делает его ненужным. Не отрицает страдание, а делает его незначимым. Не препятствует молитве — но делает её жестом, который никому не адресован. Это не бог, требующий преклонения, но присутствие, при котором сам акт

преклонения теряет смысл. Это не безмолвие, из которого когда-нибудь раздастся голос, а безмолвие как окончательная форма речи. Не от того, что нечего сказать, а оттого, что некому и незачем.

Зло здесь — не в действии, а в условиях. Не в замысле, а в структуре. Оно не подавляет душу, но не оставляет ей адресата. Сознание здесь — не точка зрения, а эхо, не субъект, а реверберация. Оно продолжает думать, но мысли не складываются в смысл. Оно помнит, но воспоминание не опознаёт утрату. Оно ищет, но уже не знает, что.

И всё же, в этом холодном устройстве мира, в этом безличном, самовоспроизводящемся порядке, возникает одна линия сопротивления. Невеликая, не героическая, не обладающая силой — но сохраняющая способность к различению. Возможность назвать холод холодом, боль — болью. Не потому что это спасает, а потому что это отказывается повторять структуру. Сам жест осознания — даже если он ничего не изменяет — уже не подчинён системе. Это то, чего совершенное, самозамкнутое зло не способно повторить: акт заботы без причины, жест сострадания без отклика, присутствие без расчёта.

Именно в этом — первая трещина. Бог, который не говорит, может быть отвергнут. Бог, который не помнит, может быть забыт. Но мир, в котором кто-то продолжает называть страдание страданием, ещё не замкнут окончательно. Пока существует сознание, способное испытывать боль и не превращать её в механизм — зло не победило.

И всё же, в более традиционных представлениях о Боге — особенно в рамках иудейской, христианской и исламской теологии — проблема зла обретает остроту,

не имеющую аналогов. В этих религиях Бог мыслится как одновременно всемогущий, всеведущий и всеблагой. С такой конструкцией несовместимо не просто наличие боли, но её регулярность, систематичность, укоренённость в самой ткани мира. Страдают невинные, гибнут дети, исчезают культуры, процветает насилие. И вопрос не в эмоциях, а в логике: если Бог знает, может и хочет — откуда тогда зло?

Попытки ответа известны. Одна — свобода воли: чтобы была любовь, должен быть выбор. Чтобы был выбор, должна быть возможность зла. Но перед лицом страданий, не зависящих от человеческого выбора — землетрясений, болезней, бессмысленных катастроф — это объяснение теряет силу. Другая — идея, что мир есть школа, а страдание — его условие. Но не все проходят этот путь. Некоторые не доходят до урока. Третья — всё во имя высшего замысла, непостижимого в своей полноте. Но это не ответ, а молчание.

Были и иные попытки: Бог страдает вместе с миром. Бог — не власть, а присутствие. Не судья, а соучастник боли. Это возвращает чувство близости, но утрачивает всемогущество. И остаётся тень: если Бог рядом, но не может остановить — зачем тогда Бог?

И всё же человек продолжает искать. Продолжает спрашивать. Не потому что уверен в ответе — а потому что отказывается признать, что ответ невозможен. И именно этот отказ — не логический, а экзистенциальный — становится формой веры. Не как уверенность, а как упорство. Вера не как решение парадокса, а как сопротивление его молчанию.

Во многих других традициях такого парадокса нет. В даосизме не ожидается, что мир будет справедлив. В

буддизме страдание — не загадка, а отправная точка. В индуизме зло растворено в цикле причин и следствий, и бог не обязательно добр — он за пределами добра и зла. Но в авраамических религиях Бог — личность. Бог — вовлечён. Бог должен ответить. И если он молчит, это уже не тишина природы — это тишина любви. Именно потому так нестерпима.

А потому зло остаётся не задачей, а раной. Не парадоксом, который нужно разрешить, а криком, который должен быть произнесён. И даже если не будет ответа — сам крик будет значить: ответ всё ещё возможен.

ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ. СОБЛАЗН БЕЗДНЫ И ЭСТЕТИКА ЗЛА

В зле, на его глубинном уровне, отталкивающее и притягательное сплетаются в единую ткань. Оно не только пугает — оно влечёт. Оно манит не воплем, но тишиной, не уродством, а ясностью, собранностью, внутренней завершённостью. Там, где добро часто запинается, ищет форму, колеблется в словах, зло предлагает простоту. Его обещание — не хаос, а порядок, не разрушение, а освобождение. Оно говорит не к страху, а к усталости. Не пугает — утешает. Оно приходит не как вторжение, но как альтернатива: разумная, красивая, полная.

Это притяжение начинается не с угрозы, а с приглашения. Искус — не в разрушении, а в облегчении. Где мораль требует труда, зло предлагает покой. Где добро просит усилия, зло даёт отказ от усилия. Оно предлагает выход — не из мира, но из ноши бытия. Из ожидания. Из долга. Из неопределённости. И потому образ зла в культуре, в литературе, в мифе почти никогда не является безобразным. Он излучает форму. Он говорит без запинки. Он носит маску не лжи, а завершённости.

Именно это завершение притягивает. Добро — всегда в процессе, всегда недосказано, всегда в ожидании. Зло же приходит как уже готовое. В нём нет поиска — в нём есть ответ. Оттого фигуры зла — будь то Сатана у Мильтона, Мефистофель у Гёте или Великий инквизитор у Достоевского — не уродливы, не безумны. Они

красноречивы, рациональны, тонки. Их речь — не крик, а стройный аргумент. Они не навязывают — они убеждают. Они не ломают — они показывают, как всё можно упростить.

Эта эстетика усиливает соблазн. Зло не выглядит как ошибка — оно выглядит как ясность. Его логика безупречна. Его стиль выверен. Оно говорит с теми, кто устал, кто запутался, кто жаждет тишины. И обещает: больше не нужно выбирать. Не нужно страдать. Не нужно быть хорошим. Будь просто свободен. Откажись. Исчезни.

В этом и заключается его глубинный соблазн: не быть злом, а освободиться от тяжести добра. Не отказаться от света, а перестать искать его. Не разрушить смысл, а перестать его нести. И потому зло эстетизируется — не потому что культура одобряет насилие, но потому что оно было представлено как облегчение. Как уход от сложности. Как отказ от внутренней борьбы.

И в искусстве, в мифе, в языке зло часто берёт верх именно благодаря форме. Оно обладает законченностью. Его линии прямы. Его фигуры собраны. Его мотивы — чисты. Даже в самых тёмных образах сохраняется ясность — трагическая, строгая, привлекательная. Тогда как добро — всегда разбросано. Оно шепчет, не кричит. Оно колеблется. Оно не запоминается сразу. Оно не обещает завершения. И потому, в повествовании, образ зла чаще занимает центр — не по морали, но по композиции.

Тем не менее эта завершённость — обман. Эстетика зла — это не полнота, а отказ от глубины. Его красота — не изобилие, а пустота, оформленная до блеска. Оно не содержит в себе значения — оно лишь имитирует его. И когда зритель, читатель, сознание приближается — возникает холод. Маска не срывается, но становится прозрачной. Речь злодея не обрывается, но теряет вес. Блеск сохраняется — но гаснет тепло. Жест продолжает — но не трогает. Всё становится видимым — но ничего уже не чувствуется.

И всё же, эстетика зла — не ошибка культуры. Она — её зеркало. Она показывает, насколько человечеству сложно поверить в силу несовершенного, неоконченного добра. Насколько оно тянется к ясности, даже когда эта ясность пуста. Насколько его утомляют сомнения, пусть даже они единственное, что удерживает от падения.

Эстетика зла учит не тому, что зло красиво, а тому, что красота может быть мёртвой. Что симметрия может скрывать насилие. Что в безупречной форме может не быть жизни. И тогда задача искусства — не отвергать этот образ, а разоблачать его. Не бороться с эстетикой, а вскрывать её цену. Показывать, что за ясностью может прятаться молчание. Что за светом может не быть источника. Что зло может быть вежливо, благородно, благозвучно — и всё же оставаться злом.

И, напротив, добро может быть неловким, несобранным,

замедленным — и именно в этом его сила. Оно не завершено — но оно живо. Оно не блестит — но согревает. Оно не знает, что делать — но остаётся рядом. В этом и заключается его незаметная победа: оно не требует признания, не жаждет центра сцены, не нуждается в аплодисментах. Оно просто остаётся — когда зло уже ушло, красиво и пусто.

ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ. ЗЛО И СВЯЩЕННОЕ

Связь между злом и священным не сводится лишь к противоположности. Она гораздо теснее, куда опаснее: это близость, в которой отражение становится подменой, а граница — зыбкой. Священное, особенно в архаических и ритуальных формах, далеко не всегда мягкое, мирное, утешительное. Оно пугает, требует, разрушает привычное. Оно не только свет — оно пламя. Не только милость — но и безжалостный зов. Священное не всегда успокаивает; нередко оно требует боли. И именно в этом жаре зло находит убежище — не вопреки святости, а сквозь неё.

В самом ядре религиозного опыта скрыта двойственность: священное может и исцелять, и разрушать. Оно не только закон, но и исключение. Оно не только граница, но и призыв её преступить. В этом разломе появляется жертвоприношение — как посредник, как переход. Кровь становится не знаком жестокости, а знаком порядка. Убийство обретает не вину, а священность. Не потому что человек зол, а потому что сам обряд требует насилия как формы обращения к Божественному. Священное не исключает насилие — оно его структурирует.

История показывает, как зло не только проникает в религию, но и питается ею. Завоевания совершаются не во имя жажды власти, а во имя Бога. Истребление объявляется не преступлением, а очищением. Противник становится не ошибающимся, а нечистым. Резня — не

жестокостью, а жертвоприношением. Зло становится не отклонением от святости, а её реализацией. Повеление убивать звучит не от демона, а от имени Творца. И чем чище вера, чем строже её буква, тем ближе лезвие к горлу.

Этот перекос проявляется не только в актах яростного фанатизма. Он скрыт и в самой логике: там, где вера не допускает неоднозначности, там, где смысл окончательен, где истина объявлена завершённой — там и рождается возможность насилия как исполнения долга. Добро не требует убийства. Но священное, лишённое сострадания, часто требует жертвы. И чем сильнее убеждение, тем меньше пространства для сомнений.

Священное в своих предельных формах любит ясность. Оно требует полной отдачи, не допускает полутонов. И когда эта преданность освобождается от милосердия, от терпения, от способности к самокритике, она превращается в топливо зла. Мученичество становится двусторонним: не только умирание за веру, но и убийство ради неё. Покойник освящается — и палач вслед за ним. Не акт определяет зло, а намерение. А намерение, освящённое доктриной, становится невидимым.

Самое тревожное — то, как священное делает страдание осмысленным. Там, где насилие обретает ритуал, боль перестаёт быть злом. Распятие становится символом спасения. Кровь — гарантией завета. Священное не устраниет ужас — оно делает его необходимым. Оно

преобразует страдание в святость. И тем самым размывает грань: жестокость перестаёт быть отклонением, она становится смыслом.

Но в сердце любой подлинной религиозной традиции есть другая линия — линия прорыва. Линия пророков, мистиков, странников, которые смотрят на алтарь не как на место подчинения, а как на место сострадания. Они говорят: не жертвы Я желаю, но милости. Они отказываются видеть в крови путь к Богу. Они свидетельствуют о том, что святость — не в пламени, а в том, кто отказывается его разжигать. В голосе, который остаётся с плачущим, а не с карающим.

Эта напряжённость раскрывает не случайную ошибку истории, а глубокую структуру. Священное — это сила. Но всякая сила требует меры. И без меры она склоняется в сторону зла не как изъян, а как продолжение. Святое и ужасное слишком близки. Они делят один и тот же язык, одни и те же жесты. И оттого зло часто не ломает священное — оно говорит его голосом. Оно надевает его одежду.

И всё же этот же разлом пролегает и в объяснении природы зла как чисто человеческого явления. Легко представить себе зло как следствие психической травмы, социальной несправедливости, индивидуального падения. Тогда оно становится поддающимся исцелению. Но когда зло повторяется вне зависимости от культуры, времени, систем — когда оно прорастает сквозь обыденность, сквозь порядочность, сквозь законы

— тогда встаёт более тревожный вопрос: а не встроено ли оно в саму ткань бытия?

Человеческая природа — лишь один из слоёв. Мы не только творцы зла, но и его носители. Иногда оно приходит не из воли, а из среды. Не из решения, а из давления. Мы не всегда выбираем зло — иногда оно выбирает нас. Оно проскальзывает в язык, в традицию, в повседневность. Оно не требует демонологии — оно требует утомления. Того момента, когда человек перестаёт замечать, что делает.

Даже природа, как ни странно, втягивается в этот вопрос. Землетрясения, болезни, разрушение без причины — не являются злом в моральном смысле, но они расширяют поле страдания. Они ставят под сомнение идею о невинности мира. Если страдание возможно без злобы, если разрушение встроено в саму эволюцию, тогда, возможно, зло — не сбой, а побочный продукт свободы. А может, даже её условие.

Но всё это не снимает с человека ответственности. Он остаётся тем, кто действует. Зло требует воплощения. Оно не может действовать без носителя. Мы — не просто среда, мы — его поверхность. Но именно в этом и возникает возможность сопротивления. Потому что, если зло приходит через человека, то и остановиться оно может только в нём. Не потому что он способен победить его окончательно, а потому что он может сказать: «Я не продолжу».

И, может быть, именно в этом и есть святость — не в силе, не в ясности, не в победе. А в том, чтобы, встретив зло, не стать его продолжением. Не передать его дальше. Не украсить его ритуалом. Не обосновать его правдой. Просто — прервать. Пусть даже в одиночку. Пусть даже в тишине.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ. ЗЛО КАК СТРУКТУРА, А НЕ СОБЫТИЕ

Когда зло перестаёт быть событием, оно становится порядком. Оно больше не звучит в крике, не режет слух железом насилия — оно проникает в повседневное, в согласованные действия, в ритмы делопроизводства. Не враждебный жест, а заполненная форма. Не угроза, а обновлённый регламент. Не намерение причинить боль, а отказ в доступе, формулировка «не соответствует требованиям». Страдание не подаётся как исключение — оно интегрируется как механизм.

Современные общества изобрели способ сохранять жестокость, не нарушая приличий. Структура зла движется по каналам, лишённым эмоций. Бюрократия не желает зла — она сортирует. Закон не убивает — он кодифицирует. Порядок не ненавидит — он администрирует. И всё же в этих нейтральных, обезличенных движениях живёт постоянное, воспроизводящееся причинение вреда. Не потому что кто-то хотел этого — а потому что никто не остановил.

В этом и состоит сущность структурного зла: его не нужно желать, чтобы оно свершилось. Оно не требует страсти. Оно требует процедуры. Его масштаб скрывается за формой. Оно не вырывается наружу — оно упрочивается изнутри. Решения, подписанные без злобы, становятся судьбами. Отказ, выраженный в шаблонной фразе, превращается в изгнание. Архив, собранный из «статусов» и «несоответствий», стирает лицо, оставляя только регистр.

Пугающее в этом не шум, а гладкость. Никакого конфликта. Только работа. Только отчёtnость. Только «нормативные ограничения». Человек исчезает — остаётся профиль, индекс, статистическая единица. Структура не требует крика — она просто продолжает. И в этом беспрепятственном движении исчезает сама возможность почувствовать: что-то не так. Всё становится «частью процесса».

Глубину этой трансформации показала Ханна Арендт, наблюдая за Эйхманом. Он не был демоном. Он был чиновником. Он не любил убивать — он выполнял инструкции. Его зло не было страстью. Оно было отсутствием мысли. Зло как административная функция. Не трагедия — но оформление. Не ненависть — но исполнение приказа. И это делает зло не менее разрушительным, а более живучим: оно не требует соучастия, только несопротивления.

В структурах современности злу больше не нужно маскироваться под зло. Оно достаточно утвердилось, чтобы называть себя порядком. Оно больше не уродует лица — оно их забывает. Оно не уничтожает напрямую — оно лишает доступа, откладывает решение, переводит запрос в статус ожидания. Оно живёт в норме. И именно потому так трудно его увидеть.

Слова, которыми оно говорит, становятся частью этого забвения. «Нелегальный», «некомпетентный»,

«недокументированный», «не имеющий статуса» — это не ругательства. Это административные ярлыки, которые уводят взгляд от человека. За каждым из них — реальность страха, нищеты, изгнания, умирания. Но язык структуры не регистрирует боль. Он распознаёт только нарушение порядка.

Тот, кто отказывает в визе, не видит изгнания. Тот, кто закрывает заявку, не слышит мольбы. Тот, кто ставит подпись, не чувствует следствий. Структура разделяет действия и последствия. Она превращает зло в работу. И именно потому мораль не может оставаться вопросом о намерениях — она становится вопросом о внимании. Способен ли человек увидеть, что его действия — не просто часть процесса, но часть вреда? Способен ли он признать, что без его подписи, его молчания, его формального согласия структура может не продолжиться?

Структурное зло устойчиво не потому, что все с ним согласны. А потому что мало кто его прерывает. Потому что сопротивление стало не бунтом, а отклонением от процедуры. Потому что доброта не вписана в систему. И даже протест теперь проходит через формы согласования. Зло научилось жить в механизме. Оно стало его смыслом.

Но даже в этом ландшафте остаётся возможность прерывания. Она не всегда звучна. Она не требует героизма. Часто — это просто отказ повторить действие. Отказ принять «так положено». Отказ видеть в человеке

только файл. Это не великое восстание, а малое, но непреклонное несогласие. И оно важно именно потому, что структура не замечает его сразу. Она не готова к разрыву внутри себя.

Этика в этом мире — не декларация, а наблюдение. Умение видеть лицо в документах. Страдание — за стандартами. Исключение — внутри регламента. И, может быть, главное действие — не обличение зла, а восстановление видимости. Не разоблачение громкого, а разминирование тихого. Не поиск виновного, а внимательное возвращение человечности в те места, где она давно числится отсутствующей.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ. МОРАЛЬНАЯ ИНВЕРСИЯ: КОГДА ДОБРО СТАНОВИТСЯ ЗЛОМ

Моральная инверсия редко начинается с разрушения. Чаще она начинается с переименования. Слова не исчезают — они меняют направление. Милосердие становится слабостью. Жестокость — долгом. Убийство — очищением. В таких перевёрнутых системах зло не уничтожает мораль напрямую. Оно её присваивает, выворачивает изнутри, сохраняет её риторику, но отравляет её содержание. Преступление совершается от имени света, и потому свет становится неотличим от тьмы.

Всё это требует не просто грубой силы, а идеологической точности. Здесь этика больше не вырастает из сопереживания, из уязвимости, из прикосновения к другому. Она исходит из правильности позиции, из лояльности к порядку, из верности вымышленной целостности. Человек перестаёт быть мерой добра — мерой становится идея. Тело исчезает — остаётся знак. Страдание обесценивается, если оно не служит правильной цели. Добро больше не распознаётся в поступке, только в принадлежности. Резать можно, если нож — в нужных руках.

Эти инверсии не происходят случайно. Их формируют, обучают, внедряют. Через лекции, парады, флаги, терминологию. Через стилистику языка. Через культуру повиновения. Через прививание новых понятий: «очищение», «профилактика», «защита». Сострадание становится признаком неблагонадёжности. Сомнение — знаком внутренней враждебности. Тот, кто сочувствует не тем, уже подрывает структуру. Зло в таких системах

— не девиация, а проявление порядка.

Когда такое зло переходит в институциональную форму, оно отказывается от аффекта. Оно не горит — оно функционирует. Оно не угрожает — оно управляет. Оно не истерично — оно точечно. Протокол становится заменой совести. Закон — заменой сострадания. Термин — заменой лица. И в этом замещении жестокость становится логикой: она не отклонение, а требование. Молчание превращается в добродетель. Отказ смотреть — в условие выживания.

Тоталитарные режимы доводят этот принцип до предела. Там зло не случайность, не сбой — оно основа структуры. Тюремная решётка, комната для допросов, камера слежения — это не просто объекты, это узлы сети, в которой государство не просто контролирует тела, а вторгается в сознание. Оно требует не только подчинения, но участия. Не только повиновения, но ритуала. Не только страха, но признания страха как нормы.

Подлинный ужас здесь — не в том, что мучают, а в том, что просят улыбнуться. Не в том, что следят, а в том, что просят полюбить наблюдение. Не в том, что подчиняют, а в том, что предлагают самим произносить собственный приговор. Конфессия становится ритуалом не истины, а власти. Не важно, что сказано под пыткой — важно, что это сказано. Важно, что голос стал эхом машины.

Язык в таких системах не исчезает — он опустошается. Правда не опровергается — она переписывается. Память не стирается — она становится преступлением. Человек учится не помнить слишком точно. Учится говорить в условном наклонении. Учится быть своим телом, а не голосом. Государство селится в интонации. Боль

становится режимом речи. И больше не требуется крик — достаточно корректной интонации.

Но в самой глубине этой конструкции всегда зреет трещина. Ни одна структура не способна поглотить всё. Даже в тотальности остаётся крошечное пространство, где ещё не всё переписано. Там, где ребёнок слышит имя, которое запрещено произносить. Там, где кто-то отказывается нажимать кнопку, не из протesta, а из стеснения. Там, где слово «нет» остаётся в горле, как невыраженное, но не утерянное.

Моральное сопротивление в таких условиях — не лозунг, не жест, не марш. Это присутствие. Это память. Это отказ признать, что структура — весь мир. Это внутренняя непроизнесённая ясность: порядок, в котором убивать — значит защищать, лгать — значит просвещать, пытать — значит исцелять, не может быть вечным. Потому что где-то ещё живёт язык, в котором милосердие — не ересь. И в этом языке, пусть и беззвучном, зло узнаёт своё поражение.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ. ПСИХОПАТИЯ И ОТСУТСТВИЕ ЭМПАТИИ

Формирование жестокости начинается задолго до того, как в человеке оформляется зрелая мораль. Оно укореняется в первых касаниях мира, когда психика ещё не различает «я» и «другой», когда желание и беспомощность, удовольствие и тревога сплетаются в единый неразграниченный опыт. В детстве жестокость ещё не носит отпечатка осознанного зла — она становится скорее пробой, исследованием, прикосновением к границе, которую ребёнок ещё не знает. Отрывание крыла у насекомого не обязательно свидетельствует о садизме. Оно выражает прикосновение к силе, к воздействию, к первому ощущению контроля.

Развитие субъективности всегда сопряжено с утратами. Ребёнок, обнаруживая, что мир не подчинён его желаниям, сталкивается с фрустрацией: грудь не появляется по требованию, тепло исчезает, боль не поддаётся названию. Первая агрессия вырывается не против кого-то, а от беспомощности в хаотичном мире. Она не направлена — она избыточна. Но именно в этом поле возникает пространство для жестокости как формы первичного действия, ещё лишённого ясного этического кода.

Постепенно приходит осознание, что действия вызывают реакции. Это осознание рождает не только возможность сопереживания, но и искушение — причинить боль и увидеть, как другой дрогнет. Испытать себя как силу. Это может быть началом сочувствия, но

также может стать точкой зарождения манипуляции. Там, где нет опыта того, как уязвимость встречается с заботой, жестокость становится языком самоподтверждения. Если внимание приходит только через боль, то боль превращается в способ быть увиденным.

Среда оказывает решающее влияние. Семья, школа, улица — всё это пространства, где формируются сценарии. Там, где агрессия отвечает на слабость, где молчание становится нормой, где подчинение выглядит безопасным, жестокость становится способом обрести место. Презрение в подростковом взгляде, насмешка над чужой робостью, исключение из группы — всё это репетиции более сложной, взрослой жестокости, в которой уже нет игры, но сохраняется структура: быть выше, быть вне риска, быть неприкосновенным.

И эта первичная модель не исчезает с возрастом. Она усложняется, становится изысканнее, входит в социальную форму. То, что было насмешкой в коридоре, становится сарказмом в речи. То, что было изгнанием с детской площадки, превращается в кадровую политику. Жестокость взрослеет, маскируется, нормализуется. И уже не воспринимается как жестокость — она становится стандартом, стилем, правилом. Но её корень всё тот же: тревога, не пережитая в безопасности, сила, не уравновешенная ответом другого.

Иногда агрессия поворачивается внутрь. Ребёнок, не получивший отражения, научившийся считать свою боль несуществующей, формирует внутреннюю жёсткость. Самокритика превращается в самонасилие, а затем — в перенесённую на других непримиримость. Взрослая жестокость часто оказывается эхом боли,

которую некогда не удалось выразить. Тот, кто не был услышан, может стать тем, кто не слышит. И тогда жестокость — не выбор, а способ выживания, ставший привычкой.

Но потенциал жестокости — не приговор. Он универсален, но не обязательен. Многое зависит от того, что следует за первым актом агрессии. Была ли боль другого показана? Было ли переживание вины разрешено? Были ли границы установлены, не как наказание, а как забота? Вина, раскаяние, стремление исправить — это не автоматические реакции, они требуют опыта, в котором другой становится не объектом реакции, а существом с болью, не чуждой.

Отдельный случай возникает там, где сочувствие не просто ослаблено, а полностью отсутствует. Психопатия, как клиническое состояние, показывает радикально чуждую форму взаимодействия: здесь нет внутреннего напряжения, нет конфликта, нет вины. Поведение может быть внешне вежливым, даже обаятельным, но внутри — пустота. Не потому что личность отвергает мораль, а потому что она её не чувствует. Правила существуют как данные, но не как внутренние ограничения. Другой — не лицо, а механизм, средство, помеха.

Именно это делает психопатию философски тревожной: если злое действие совершается без ненависти, если разрушение не является результатом ярости, а лишь хладнокровной целесообразности — где проходит граница между аморальностью и этически пустым действием? Если лицо другого не вызывает ни тревоги, ни стыда — есть ли тут вообще место для ответственности?

Левинас утверждал, что лицо другого — это вызов, этическое прерывание. Но у психопата лицо не вызывает отклика. Оно — поверхность, а не призыв. Нет встряски, нет границ. Это и есть ужас: понимание, что уязвимость не гарантирует ответа. Что эмпатия не универсальна. Что чувство вины — не обязательная данность.

Нейробиология лишь подтверждает: в мозге психопата иное распределение активности, сниженная способность к эмоциональной резонансности. Это не оправдание, но объяснение. Если моральная структура отсутствует с начала, то в каком смысле можно требовать внутреннего выбора? Может ли зло быть не выбором, а эффектом пустоты?

И всё же психопатия — не чудовище. Она может быть успешной, функциональной, даже харизматичной. Но там, где возникает разрушение, оно протекает без тормозов. Не из-за ненависти — из-за равнодушия. И потому особенно опасно.

Но ещё страшнее не сама патология, а то, как её черты проскальзывают в норму. Равнодушие, манипуляция, объектное отношение к другому — всё это появляется и вне клинической картины. В корпорациях, в идеологиях, в алгоритмах. Психопатическая структура может быть не только в индивидууме, но и в модели мира, где забота — излишек, а эффективность — критерий этики.

И тогда вопрос встаёт остро: возможно, зло не всегда рычит. Иногда оно просто не отвечает. Не потому что не может, а потому что не считает нужным.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЁРТАЯ. УДОВОЛЬСТВИЕ ОТ ГОСПОДСТВА

Там, где причинение страдания становится не средством, а целью, где жест не просто ранит, но черпает в этом удовлетворение, возникает форма власти, лишённая сомнения, лишённая необходимости оправдания. Наслаждение господства не возникает из недоразумения, не питается случайной агрессией, но формируется в точке максимальной ясности: в знании того, что другой страдает — и в сознательном решении углубить эту боль. В этом и заключается подлинная суть садизма — не в спонтанном взрыве жестокости, а в методическом удержании власти над живым, чувствующим телом, в умении превратить ответ другого в объект удовольствия.

Садизм не обязательно требует грома. Он может быть тихим, сосредоточенным, почти ласковым. Он не исходит из ненависти — потому что ненависть всё ещё признаёт силу объекта. Здесь, напротив, важно наблюдать за тем, как воля другого крошится под давлением, как лицо теряет свою собранность, как сопротивление угасает. Суть не в боли сама по себе, а в иерархии. Не в разрушении, а в подчинении. Наслаждение рождается не в акте, а в его результате: другой превращается в вещь, в функцию, в живое доказательство власти.

Психологически этот импульс связан с ощущением всемогущества — редким, почти иллюзорным состоянием, в котором субъект ощущает себя вышедшим

за пределы уязвимости. Обычный человек знает, что причинённая боль вернётся отзвуком — в виде вины, страха, сожаления. Садист же ощущает иное: прикосновение к власти, которая не требует обратной связи, к власти, в которой боль другого становится пространством самоподтверждения. Крик — это не свидетельство страдания, а подтверждение собственного существования. Подчинение — не просто факт, а ликовение.

Именно это делает структуру садизма столь притягательной: она освобождает от риска. Там, где забота требует открытости, взаимности, где любая близость несёт в себе возможность быть отвергнутым, садизм предлагает иной путь — путь закрытости, контроль без потерь, значимость без тревоги. Другой не вызывает страх — он фиксируется как механизм, как поверхность, с которой можно взаимодействовать без последствий.

Эта логика не принадлежит только отклонениям. Она легко адаптируется в институциональные формы — в культуру подчинения, в ритуалы дисциплины, в способы публичного унижения, замаскированного под воспитание. Руководитель, который ломает сотрудника на совещании; преподаватель, превращающий критику в понижение достоинства; система, которая приказывает улыбаться, даже когда причиняет боль — все эти проявления демонстрируют не поломку порядка, а его тень. Садизм, встраиваясь в норму, получает защиту: он оправдан процедурой, регламентом, результатом.

В интимных отношениях удовольствие от господства особенно сложно различимо. Там, где желания и уязвимость тесно переплетены, различие между игрой и насилием становится хрупким. Некоторые формы эротизма строятся именно на грани — на балансе власти и доверия. Но когда исчезает взаимность, когда согласие превращается в привычку подчинения, а боль не прерывает контакт, а завершает его — тогда садизм перестаёт быть фрагментом и становится сутью. Партнёр превращается в добычу. Привязанность — в ритуал обладания.

Опасность такого удовольствия заключается в его нечувствительности к вине. Там, где у большинства внутреннее сопротивление тормозит жестокость, садизм его обходят. Здесь не отрицается боль — она эстетизируется. Становится доказательством, оправданием, зреющим. Ум выстраивает конструкции, в которых страдание оправдано: слабый — виноват, непослушный — заслуживает наказания, подчинённый — должен подчиняться. И в этом пересчёте эмоций на аргументы расцветает наслаждение, занявшее место, где должна была быть совесть.

На уровне идеологии эта структура может быть масштабирована. Боль становится не издержкой, а проявлением правоты. Враг — не просто опасен, он лишён достоинства. Его страдание — не трагедия, а спектакль очищения. Публика собирается не из злобы, а из потребности видеть порядок восстановленным. Здесь

садизм перестаёт быть скрытым — он переходит из частного в публичное, из отклонения в доктрину.

И всё же внутри этого удовольствия скрывается разлад. Оно требует присутствия другого — но такого, чей отклик будет использован, а не услышан. Он должен страдать, но не быть увиденным. Должен быть живым — но только как сосуд для боли. Это расщепление никогда не затихает: подчинение должно быть повторено, власть — вновь утверждена, другой — снова обесценен. Наслаждение не знает завершения — только продолжение.

С философской точки зрения, это разрушает идею о том, что зло — всегда ошибка, непонимание добра. Здесь зло осознаётся — и предпочитается. Не как идея, а как опыт. Не потому что оно обманывает, а потому что оно насыщает. Садист не заблуждается относительно морали — он просто живёт вне её измерения, выбирая прямую, сиюминутную полноту власти над любым её сомнением.

Сопротивление этому злу не сводится к нравоучению. Оно требует иной работы: распознавания ритуалов унижения, скрытых в языке повседневности. Оно просит внимания к мелким формам власти, где удовольствие от подчинения прячется под маской дисциплины. Оно зовёт к вопросам: что делает нас восприимчивыми к таким структурам? Почему подчинение так часто принимается за норму, а забота — за слабость?

Ибо зло в своей самой интимной форме не всегда кричит. Иногда оно говорит мягко. Иногда — молчит. И его самая большая радость приходит не в момент разрушения, а в той секунде, когда другой перестаёт сопротивляться, когда мир, пусть на миг, кажется полностью контролируемым — и потому, как будто, завершённым.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ. УДОВОЛЬСТВИЕ БЫТЬ ЖЕРТВОЙ

Удовольствие быть жертвой принадлежит к числу самых тонких и тревожных извращений морального воображения. Жертва ассоциируется с утратой, унижением, болью — с тем, что вызывает сочувствие, требует защиты, обещает справедливость. Но под определёнными психологическими и культурными условиями эта фигура начинает изменяться. Страдание перестаёт быть лишь тяжестью — оно превращается в ресурс. Жертва обретает не только статус пострадавшего, но и право на истину, на исключение, на неподсудность. Боль становится валютой, слабость — заслоном, а биография — недосягаемой.

Эта трансформация происходит не как преднамеренная ложь, а как глубинное приспособление к миру, в котором запутанность мотиваций и сложность вины создают невыносимую нагрузку на самоидентификацию. Быть жертвой — значит избавиться от необходимости сомневаться в себе. Там, где мораль требует выбора, жертвенность предлагает ясность. Я страдал — значит, я прав. Я был унижен — значит, моё слово выше сомнения. Так формируется моральный комфорт, почти утопический: не нужно анализировать, достаточно помнить. В мире, где всё под вопросом, позиция жертвы позволяет не задавать их вовсе.

Но удовольствие это прячется под масками. Оно редко осознаётся как наслаждение. Скорее — как праведное

возмущение, как неоспоримая обида, как торжество боли, которая требует немедленного внимания. Именно в этой связи возникает ощущение власти — не господства над другими, но неприкосновенности. Тот, кто пострадал, может говорить всё, не будучи остановленным. Он не должен аргументировать — он заявляет. Его слова — свидетельство. А любое несогласие становится новой формой насилия. Позиция превращается в крепость: чем больше ран, тем выше стены.

Психологически эта позиция выполняет защитную функцию. Она отводит взгляд от внутренней уязвимости, от неудач, от тех мест, где субъект сам себя разочаровал. Если страдание навязано извне, значит, проблема не в выборе, не в ошибке, не в неспособности. Тогда не нужно меняться — нужно лишь быть признанным. А признание, в этой логике, не ведёт к исцелению. Оно становится самодостаточным, замыкающим. Оно заменяет движение — остановкой.

Именно здесь происходит поворот от опыта к идентичности. Жертва — это уже не событие, это форма присутствия. Она требует подтверждений: новых обид, новых следов несправедливости, новых фигур угнетателя. Даже жест доброты может быть истолкован как подмена: если он не признаёт травму, он её затирает. Пространство взаимодействия превращается в зону мин: любое слово может быть истолковано как новая угроза. Боль становится не тем, что просит встречи, а тем, что исключает её.

В коллективных структурах этот механизм умножается. Историческая травма превращается в инструмент авторитета. Нarrатив страдания становится основой не только для памяти, но и для исключительности. Внутреннее инакомыслие маркируется как предательство, сопереживание чужому — как измена. Страдание сакрализуется, и потому теряет возможность быть исцеленным. Оно перестаёт быть опытом и становится догмой.

Это не отменяет реальности боли, не умаляет страданий, не требует цинизма. Но когда жертвенность закрепляется как роль, а не как рана, она теряет свою нравственную силу. Она больше не зовёт к справедливости — она требует исключения. Она перестаёт быть обращением к общечеловеческому, и становится формой власти, предъявляющей счёт. Тогда травма перестаёт соединять — и начинает разделять.

Сложность в том, что признание удовольствия от этой позиции — почти невозможно. Оно вытесняется, отвергается, маскируется под возмущение, под срочность, под бесконечную тревогу. Удовольствие в том, чтобы быть вне подозрения, в том, чтобы быть центром морали, не несущим ответственности. И всё же это удовольствие остаётся — в управлении вниманием, в безусловной правоте, в способности диктовать рамки допустимого. Страдание становится не тем, что требует заботы, а тем, что регулирует речь других. Оно определяет, что можно вспоминать, а что следует забыть.

Этическая опасность в том, что такая жертвенность перестаёт быть движением к преобразованию. Прощение становится предательством. Рост — угрозой. Исцеление — изменой памяти. И в этом перекосе грань между пострадавшим и причиняющим страдание становится тревожно неясной. Потому что сохранение боли как источника власти делает невозможной встречу. Всё взаимодействие превращается в ритуал подтверждения.

Задача не в том, чтобы обвинить жертву, не в том, чтобы требовать забыть. А в том, чтобы распознать, когда страдание перестаёт быть правдой, нуждающейся в отклике, и становится маской, не допускающей встречи. Подлинное исцеление начинается не тогда, когда боль уходит, а тогда, когда человек перестаёт нуждаться в том, чтобы через неё быть услышанным. Когда удовольствие от исключения уступает место более трудной работе — восстановлению целостности. Не от страдания — но от себя, который стал от него зависим.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ. НЕВИННОСТЬ ПОД ПРИЦЕЛОМ

Абсолютное зло, становясь не просто чередой поступков, а осознанной архитектурой намерения, редко выбирает себе в противники сильных, вооружённых, виновных. Оно оборачивается к тем, кто лишён защиты, у кого нет слов, у кого ещё не оформлена даже сама возможность сопротивления. Детская фигура — здесь не случайность, а мишень. Там, где создаются лагеря, устраиваются геноциды, разворачиваются механизмы насилия, ребёнок оказывается в самом центре. Его боль — не побочный ущерб, она встроена в замысел.

Идея невинности в этом контексте означает не только отсутствие вины, но и отсутствие власти. Ребёнок — это существо, зависимое от милости других, от решений, которые он не принимает, от границ, которые ему не принадлежат. Удар по такому существу становится демонстрацией предельной власти — той, что не требует ни оправданий, ни осторожности, ни страха последствий. Здесь доминирование раскрывается в своей абсолютной форме: не как реакция, а как произвол.

Но за этим действием стоит ещё и символическая программа. В образе ребёнка соединяются представления о будущем, о чистоте, о продолжении жизни. В нём воплощается идея спасения — не как мгновенного избавления, а как возможности чего-то иного, ещё не сформированного. А потому уничтожение ребёнка — это послание: нет будущего, нет света впереди, нет смысла строить. Зло, обращённое к

невинности, не просто убивает — оно глумится над самой надеждой.

Из этой логики следует, что жестокость по отношению к детям — не случайная крайность, а ритуал, антиобраз жертвоприношения, в котором насилие превращается в язык власти. Чем беззащитнее объект, тем более полным становится господство. В этом акте стирается граница между человеком и функцией, между живым телом и политическим знаком. Ребёнок — не личность, а код, который нужно удалить.

История знает множество форм этого удаления. В идеологических режимах дети врага — не дети, а потенциальные носители заразы, идеи, иного языка. Им отказывают в сочувствии до самого акта уничтожения. Их не нужно любить, их нужно предвидеть — как будущую угрозу. Так эмпатия уступает место страху, а защита — риторике чистоты. Гуманность отступает, потому что ребёнок больше не воспринимается как существо, нуждающееся в заботе, а как инструмент другого порядка — врага, рода, культуры.

Однако не вся эта ненависть рождается из идеологии. Иногда она глубже — психологическая. Чистота взгляда, ещё не затронутого предательством, спонтанная радость, которая не знает стыда, доверие, которое ещё не подверглось разочарованию, — всё это становится невыносимым для того, кто сам давно утратил возможность быть открытым. В таком случае разрушение невинности — не стратегия, а месть. Не

ребёнок виноват — виновата его целостность.

Есть и иные формы зла, менее патетичные, но не менее разрушительные — системные. Торговля, эксплуатация, труд, заключение — здесь дети не символ, а ресурс. Их легко запугать, ими удобно управлять, их боль не требует объяснений. Здесь невинность не отрицается — она используется. Она включена в расчёт. Здесь нет страсти, только прибыль. Зло — не в ярости, а в бюджете.

Самое страшное, пожалуй, в том, как это может быть скрыто. Насилие над детьми редко происходит на площадях. Оно предпочитает замкнутые пространства: дома, интернаты, казармы, учреждения, называющие себя воспитательными. Насильник может быть не чудовищем, а наставником. Его речь — не крик, а инструкция. Его маска — не зверь, а опекун. И это делает зло не менее явным, а более укоренённым. Оно не борется с порядком — оно им притворяется.

Тот, кто причиняет вред ребёнку, делает вызов не только самому существу этого ребёнка, но и обществу, стоящему вокруг. Молчание в ответ становится не проступком, а соучастием. Любая попытка отвернуться, оправдать, сделать вид, что не было, — это сдача. Испытание проходит не тот, кто страдает, а тот, кто видит и не говорит. И история знает: слишком часто это молчание оказывается громче крика.

Тем не менее, несмотря на этот ужас, образ ребёнка не исчезает. Даже в самых тёмных хрониках мира он возвращается — не как украшение страдания, а как знак предела. Это лицо, которого нельзя забыть. Эта тишина, которая не даёт спокойно жить даже тем, кто остался в стороне. Это фигура, которая говорит без слов: здесь было пересечено нечто, что не подлежит оправданию. И пусть зло способно разрушить тела, искажающее смыслы, оно не может стереть последнюю интуицию: есть то, что не должно быть разрушено. Даже если всё остальное уже отнято.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ СЕДЬМАЯ. ЖЕРТВЕННОСТЬ КАК ОРУЖИЕ

Манипуляция страданием как способом оправдать агрессию или подчинение других не начинается с лжи — она начинается с правды, пережитой когда-то боли, которая со временем превращается из запроса на признание в форму власти. Подлинная жертва — это не позиция, а состояние: крик, обращённый к другому, требующий быть услышанным не как слабость, а как свидетельство раны. Но когда это состояние закрепляется, превращаясь в стратегию, его моральное содержание меняется. Страдание становится не поводом к исцелению, а ресурсом. Оно перестаёт просить справедливости и начинает диктовать право причинять вред. И в этом развороте роль жертвы перестаёт быть актом уязвимости и становится актом контроля.

Сама логика такой инверсии парадоксальна: сила рождается не из преодоления, а из слабости. Боль превращается в моральную валюту, обида — в оправдание власти. Фраза «нам причинили зло» начинает работать как освобождение от сомнений, как лицензия на жестокость. Каждое действие, направленное против другого, окрашивается в цвета справедливости — потому что, мол, теперь мы имеем право. Обиды прошлого становятся основанием настоящего насилия. Память перестаёт быть средством примирения — она становится оружием.

Коллективы, формирующие свою идентичность вокруг исторической травмы, склонны видеть в любом несогласии продолжение давнего унижения. Любая критика воспринимается как нападение, любое сомнение

— как новая форма преследования. В этом моральном пейзаже сочувствие к другим становится неуместным, потому что страдание видится как исключительное, а чужая боль — как фальсификация или угроза. Здесь логика звучит не как «мы тоже страдали», а как «только мы имеем право страдать».

Когда такие нарративы закрепляются на уровне идеологии, страдание становится фундаментом национального или политического мифа. Память о геноциде, депортации, порабощении превращается в священный текст, из которого выводятся новые границы, новые законы, новые формы исключения. Прошлое не зовёт к осторожности — оно становится легитимацией будущей агрессии. Жертвы прошлого используются не как предостережение, а как оправдание новых линий фронта.

Этот механизм работает не только в масштабах народов или идеологий. Он укореняется в психике отдельного человека. Тот, кто был ранен, может начать воспринимать любую границу, поставленную другим, как продолжение насилия. Любое несогласие — как предательство. Страдание превращается в форму неприкасаемости. Защита исчезает, остаётся требование признания — без самоанализа, без ответственности. Сама фигура пострадавшего становится бронёй: за ней не видно поступков, только боль.

Но в этом закреплении страдания есть разрушительная сила. Оно размывает различие между правдой и манипуляцией, между свидетельством и театром. Настоящая боль теряет свою убедительность, потому что язык страдания присваивается теми, кто использует его ради власти. Сочувствие превращается в усталость.

Эмпатия отступает перед риторикой жертвенной исключительности. А потому подлинное страдание начинает тонуть в шуме инструментального.

Здесь возникает ещё одна инверсия: жертва больше не просит заботы — она требует неприкосновенности. Не защиты от насилия, а освобождения от критики. Она становится морально непогрешимой. Её действия не могут быть поставлены под сомнение, потому что она пострадала. А значит, может причинять вред во имя своего страдания. Насилие перестаёт быть насилием — оно становится возмездием. Молчание других — не знак страха, а форма долга.

Эта логика особенно трудна для обсуждения, потому что укрыта реальной болью. Тот, кто ставит под сомнение инструментализацию страдания, мгновенно оказывается обвинённым в бессердечии. Любая попытка распознать механизм власти за фигурой жертвы воспринимается как новое унижение. Агрессор обретает статус непонятого. Структура морали переворачивается. Тот, кто причиняет боль, объявляет себя раненым. А тот, кто сопротивляется, становится бездушным.

И всё же задача не в том, чтобы отрицать реальность страдания, а в том, чтобы вернуть ему честность. Подлинная жертва не требует молчания от других — она просит быть услышанной. Её боль — не оправдание, а приглашение к диалогу. И её достоинство определяется не тем, как много ей позволено, а тем, что она отказывается превращать рану в повод к мстительности.

В мире, насыщенном многослойными историями травм, где страдание пересекается и повторяется, соблазн использовать боль как инструмент власти велик. Он предлагает ясность — ложную, но привлекательную. Но

эта ясность хрупка. Она не выдерживает встречи с чужой болью, потому что в ней нет места для её признания. Там, где каждая сторона требует исключительности, исчезает сама возможность справедливости.

Выход требует другого этического усилия: удерживать в себе свою боль и не превращать её в требование. Уметь слышать, не отказываясь от своего опыта. И иметь силу не поддаться соблазну правоты, которая больше не нуждается в человеке напротив.

Истинная справедливость начинается с признания общей уязвимости. Там, где страдание больше не служит оправданием власти, а становится напоминанием: мы не должны повторять то, через что прошли.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВОСЬМАЯ. ЭКОНОМИКА ЗЛА

Зло в экономической сфере не кричит, не размахивает знаменами и не требует верности. Оно не нуждается в ярости, чтобы действовать, и не зависит от страха, чтобы укрепляться. Его язык сух, его облик респектабелен, его действия скрыты под слоями контрактов, отчётов, показателей. Оно проявляется не как исключение, а как норма, не как безумие, а как логика. Страдание в этой системе не замалчивается — оно пересчитывается. Оно не отрицается — оно встраивается, нормируется, обосновывается цифрами. Зло здесь не требует ненависти — ему достаточно быть прибыльным.

В основе этой структуры лежит превращение жизни в издержку, боли — в побочный эффект, тела — в сырьё. Экономическая модель, действующая по принципу максимизации прибыли, превращает человека в единицу производительности, а его страдание — в внешнюю переменную, не входящую в расчёт, если только не угрожает рентабельности. Сама эксплуатация становится не ошибкой системы, а её рабочим механизмом. Человек создаёт больше, чем получает, и эта разница не случайна — она заложена в архитектуру труда.

Такое зло скрывается за риторикой эффективности. То, что законно, считается легитимным. То, что прибыльно, — правильным. Цепочки поставок становятся щитом: через посредников, границы, фабрики и шахты боль рассеивается, её источник оказывается достаточно далёким, чтобы исчезнуть из поля зрения. Потребитель получает товар, не ощущая, сколько тел стояло за ним. Инвестор измеряет только доходность, не задаваясь вопросом о цене, которую платит невидимый другой.

Страдание не прячется — его просто делают нечитаемым.

Колониальные структуры показали раннюю модель такого устройства: территории превращались в зоны извлечения, население — в рабочую силу, ресурсы — в товар. Насилие не сопровождало эту экономику — оно было ею. Современные формы повторяют тот же узор, но с другими инструментами: кредит, патенты, торговые соглашения, санкции. Механизмы изменились, логика осталась. Страны и сообщества по-прежнему становятся поставщиками страдания для чужой стабильности. Их уязвимость превращается в топливо чужого комфорта.

В потребительской экономике этот процесс усложняется: эксплуатация становится ежедневным выбором, скрытым под видом удобства. Не потому, что правда недоступна, а потому, что система учит не смотреть. Телефон не пахнет потом добытчика, рубашка не несёт следов пальцев, кофе не напоминает о фермере, лишённом земли. Всё это не спрятано — оно абстрагировано. Расстояние превращает боль в метафору. А без образа нет прерывания: не срабатывает тревога, не возникает сопротивления.

Самая опасная черта этой структуры в том, что она вознаграждает безучастность. Попытка выйти из неё — пусть даже в самой мягкой форме — вызывает подозрение. Справедливость кажется наивной, сострадание — нерыночным. Требование соблюдения этики становится угрозой конкурентоспособности. Экономическая логика оборачивает добро в неэффективность, а заботу — в провал. В таком мире зло не противоположно порядку — оно встроено в его определение.

Это зло не централизовано. Оно не сосредоточено в корпорациях-исполинах или в алчных бюрократах. Оно распределено. Оно живёт в алгоритмах, в транспортных маршрутах, в инвестиционных портфелях. Оно не нуждается в ярости — только в инерции. Оно питается повторяемостью. Оно учит не чувствовать. Оно называет желания — рынками, нужды — дефицитом, труд — издержками. Оно подменяет язык. И через это подменяет восприятие.

Тем не менее, задача не в том, чтобы проклинать богатство как таковое или обожествлять бедность. Задача в другом: показать, как одни живут за счёт других не случайно, а системно. Как боль становится не следствием ошибки, а следствием нормы. Как устойчивость одних предполагает нестабильность других. Как даже при знании масштаба ущерба попытка изменить структуру вызывает обвинение в утопии. И как зло, став доходным, обретает почти неуязвимую форму.

Нарушение этой логики не может быть простым. Оно требует отказа от идеи, что цена определяет ценность. Требует пересмотра понятия успеха. Требует возвращения тел в уравнение, напоминания, что за показателями стоят дыхание, кровь, истощение. Это не мораль против экономики — это попытка вернуть экономике мораль. Не абстрактную, а телесную. Не риторическую, а материальную.

И прежде всего — требует памяти. Не памяти как исторического знания, а как способа видеть сквозь трансформации: что то, что зовётся сегодня «развитием», вчера называлось «экспроприацией». Что то, что величают «свободным рынком», начиналось как свобода грабить. Что та плавность, с которой двигаются товары, возможна лишь потому, что другие не двигаются вовсе.

И что зло, став цифрой, не исчезло — оно стало стабильным.

Понимание этого не даёт готового выхода. Но оно возвращает право на вопрос. Оно делает боль видимой, даже если её не отменить. И оно разрушает главную защиту экономического зла — его привычность.

Глава двадцать девятая. Зло и Идея Справедливости

Справедливость, как идеал, долгое время воспринималась как то, что должно встать между злом и миром, вернуть утраченное равновесие, обозначить границу, за которой начинается восстановление. Она казалась образом закона, облечённого в нравственность, способом не просто отомстить, а восстановить, не только наказать, но и услышать. Однако любое человеческое понятие, каким бы высоким оно никазалось, оказывается подвержено тем же влияниям, что и всё остальное: времени, власти, боли, избирательной памяти. И справедливость — не исключение. Она редко бывает прозрачной. Её замысел может быть чист, но воплощение почти всегда замутнено историей.

Когда справедливость превращается в инструмент возмездия, она нередко утрачивает свою инициальную цель. Возникает не исправление, а зеркалирование. Страдание оплачивается страданием, унижение — унижением, и цикл продолжается, хотя язык становится благороднее. Разница между местью и приговором начинает стираться: обряд заменяет гнев, процедура — удушье боли. Зло не побеждено — оно просто сменило одежду, стало уместным, легитимным, почти комфортным в своей предсказуемости.

Даже когда справедливость обращается к восстановлению, когда отказывается от карательности ради примирения, внутри неё всё равно остаётся напряжение. Идея, будто можно вернуть прежнее состояние — доверие, достоинство, целостность —

опирается на представление, что эта целостность когда-то существовала, и что она поддаётся реконструкции. Но боль не откатывается назад. Потеря не аннулируется. Иногда даже прощение становится невозможным. И тогда справедливость, обещавшая избавление, приносит разочарование — не потому что она ложна, а потому что слишком многоного пообещала.

Опаснее всего, когда справедливость становится языком власти. Государство, закрепляя за собой исключительное право на наказание, формирует насилие в виде нормы. Оно превращает боль в бюрократическую единицу, а страдание — в абзац протокола. Судебные залы становятся местом, где урон переводится в понятия, где плач превращается в формулировку, где опыт живого человека втискивается в формальные рубрики. Жертва присутствует, но не всегда видима. Её боль учтена, но не разделена. Закон признаёт — но не прикасается.

В таких условиях справедливость может не исцелить, а стереть. Система движется вперёд, оставляя человека в неподвижности. Закон, заявляя о своей нейтральности, может быть слеп не ко злу, а к контексту. Слепота эта неравномерна: она чаще игнорирует раненого, чем защищает его. И тогда справедливость оборачивается санкционированным насилием: выверенным, предусмотренным, обоснованным. Оно больше не вызывает ужаса — оно вызывает привыкание.

История знает случаи, когда справедливость превращалась в орудие репрессий. Показательные процессы, чистки, идеологические трибуналы — всё это использовало язык закона и морали, чтобы узаконить

разрушение. Там, где должны были говорить право и достоинство, звучали обвинения, ритуально воспроизводящие подчинение. Здесь справедливость не борется со злом — она становится его витриной. Преступление уже не доказывается — оно разыгрывается. Приговор не исправляет — он подавляет.

Это ведёт к философскому вопросу: является ли справедливость добром сама по себе? Или она — лишь метод, нравственная нейтральность которого зависит от рук, её использующих? Если она — лишь мера, то её легко обратить в наказание. Если она — отношение, то её невозможно свести к формуле. Тогда она становится не приговором, а встречей. Не окончанием, а началом — неудобным, неполным, но настоящим.

Даже такая живая справедливость остаётся хрупкой. Она может не вместить ярость, не справиться с болью, не предложить утешения. В тех случаях, где зло было бесформенным, растянутым во времени, безличным — справедливость оказывается бессильной. Там, где нет преступника, а есть система. Где нет события, а есть структура. Где нет истца, потому что все пострадавшие молчат. Юридический язык глухнет в этих условиях. Он не знает, как говорить о пустоте.

Поэтому справедливость — не всегда антоним злу. Иногда она движется рядом с ним, почти неотличимо. Их языки перекликаются. Сложность заключается не в осуждении, а в различении: где справедливость говорит от имени раненого, а где — от имени механизма. Где она открывает путь, а где — закрывает дверь. Где возвращает достоинство, а где воспроизводит ритуал.

Истинная справедливость не спешит с итогами. Она не обещает полного исцеления, но создаёт условия, в которых рана не превращается в оружие. Её задача — не обнулить зло, а не дать ему диктовать, что будет дальше. В этой уязвимости справедливость и остаётся человеческой: не бронёй от всех трагедий, но жестом, в котором отказывается повторить то, что уже разрушало.

ГЛАВА ТРИДЦАТАЯ. ЗЛО В МОЛЧАНИИ: ПРОБЛЕМА НАБЛЮДАТЕЛЯ

И зло, действительно, редко нуждается в крике, чтобы быть услышанным. Оно живёт в промежутках — в тех местах, где никто не вмешался, не прервал, не задал вопрос. Оно питается не столько яростью, сколько безучастием. Пассивность, не сопротивляясь, создаёт пустоту, в которой жестокость чувствует себя безопасно. В ней она формируется, находит устойчивость, получает время, пространство, тишину. И самым важным становится не то, кто ударил, а то, кто стоял рядом, видел, знал — и остался на месте.

Образ стороннего наблюдателя — не всегда образ злого человека. Чаще это фигура того, кто боится, сомневается, устал, или просто не ощущает связи. И тем не менее, его бездействие становится опорой происходящего. Оно сообщает участникам сцены, кто и что здесь допустимо: жертве — что она одна, исполнителю — что он свободен. Молчание, в этой логике, не отсутствие позиции. Оно — сама структура. Оно закрепляет то, что должно было быть остановлено.

Особенно в периоды общественной катастрофы фигура молчащего свидетеля появляется повсюду. Это не только тот, кто оказался физически близко к событию, но и тот, кто слышал о нём, читал, догадывался — и предпочёл не взглянуться. Он может находиться в соседней комнате, на другом конце улицы, среди голосующих или вежливо отмалчивающихся. Его участие незаметно, но именно оно делает возможным общий ландшафт. Ни одно

угнетение, ни один режим, ни один преступный порядок не держался бы без массы тех, кто выбрал невмешательство.

Внутренние оправдания этого молчания почти всегда одинаковы. Они звучат как формы осторожности, здравомыслия, самосохранения. «Это не моё дело», «Я не знаю всей картины», «Кто-нибудь другой обязательно вмешается», «Если я выступлю, всё рухнет». Эти фразы — не знаки жестокости, а формы бегства от ответственности. Они защищают образ себя как хорошего человека. Признать, что молчание — уже участие, значит признать: я уже внутри этой сцены. И именно этого признания боятся больше всего.

Но эти не-сделанные действия накапливаются. Каждое бездействие становится новым уровнем терпимости. То, что однажды показалось невыносимым, со временем перестаёт поражать. Человек, который когда-то колебался, теперь не замечает. Привыкание формирует новую мораль: менее чувствительную, менее внимательную, менее живую. И зло уже не нуждается в маске. Оно движется открыто — не потому, что победило, а потому что публика устала.

Культурно фигура безучастного почти всегда появляется в ретроспективе. Только после трагедии возникает вопрос: почему они молчали? Но в момент события это «они» ничем не выделяются. Они — просто люди, продолжающие дела. Их одежды чисты, маршруты прежние. Всё происходит как будто где-то ещё. И потому ничего не меняется.

Общество почти не учит вмешательству. Оно учит выживать, быть осторожным, не выделяться. За смелость наказывают, протестующих изолируют, тех, кто нарушает правила в пользу другого, объявляют «непрофессиональными». Молчание не просто допустимо — оно вознаграждается. Так формируется не активное зло, а серая тишина, в которой всё происходит без сопротивления. Не по злому умыслу, а по молчаливому согласию.

Но быть свидетелем — не значит быть сторонним. Это всегда уже форма участия. Увидев, человек вступает в отношение. Его выбор — не в том, вмешиваться или нет, а в том, какую сторону он займёт. Молчание — не отказ от участия, а выбор быть на той стороне, где меньше риска. И это делает фигуру стороннего не нейтральной, а отчуждённой — не только от происходящего, но и от собственного человеческого ядра, которое основано на ответности.

При этом нельзя игнорировать страх. Не каждый молчащий — равнодушен. Иногда это тот, кто уже пробовал и не смог. Тот, кто сам находится под угрозой. Тот, для кого вмешательство значит потерю дома, статуса, близких, жизни. Между молчанием и выживанием проходит тонкая линия, и каждый шаг по ней требует не абстрактной добродетели, а реального риска.

И всё же — выбор остаётся. Иногда он мал, почти незаметен. Но именно он отделяет соучастие от присутствия. Быть человеком — значит не только чувствовать боль, но и выбирать, как отвечать на чужую.

Иногда это значит просто не подыгрывать, не смеяться, не отводить глаз, не оправдывать привычным словом. Быть свидетелем — не означает быть героем. Иногда это просто быть не безразличным.

Проблема стороннего наблюдателя — не отклонение, а правило. Она появляется в каждом времени, где зло становится нормой. И чтобы это понять, не нужно оправдывать — нужно видеть: зло не нуждается в чудовищах. Оно нуждается в тех, кто молчит. И в той тишине, которую они создают, возникает самый острый вопрос — кто был рядом, кто знал, и почему никто не заговорил.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ПЕРВАЯ. МЕТАФИЗИКА МЕСТИ

Месть, укореняясь в сознании, редко говорит откровенно. Она не называет себя жаждой боли, не признаёт себя продолжением разрушения. Наоборот, она предпочитает облик справедливости, тщательно маскируясь под чувство порядка, восстановление баланса, праведный ответ на причинённое зло. Первоначальное страдание постепенно преобразуется в нечто более возвышенное — в убеждённость, что воздаяние есть не просто право, но обязанность. В этом превращении боль теряет свою уязвимость и становится оружием.

Так начинается искажение, в котором жертва себя не узнаёт, а обидчик — становится не столько противником, сколько поводом для нравственной самоутверждённости. Месть перестаёт быть исключением. Она становится частью структуры, в которой зло, раз переведённое на язык долга, продолжает жить, но уже в другом обличии. Всё, что раньше было бы названо жестокостью, теперь находит оправдание — через личную правду, через память, через обострённое чувство справедливости, не допускающее сомнений.

Воздаяние привлекает прежде всего возможностью вернуть контроль, отвоевать у бессилия то, что было утрачено. Оскорблённое достоинство требует жеста, страдание — формы, ответ — действия. Но в этом стремлении к восстановлению теряется различие между тем, кто был ранен, и тем, кто теперь ранит. Месть почти незаметно заимствует логику обидчика. Она повторяет структуру причинённого зла, но в другой тональности. И

потому не исцеляет, а продолжает. Ответ не закрывает счёт — он открывает новый.

Каждое новое мщение ссылается на предыдущее. Оно питается незажившей памятью, и потому не допускает забвения. Даже если действия кажутся единичными, за ними выстраивается непрерывная нить. Она связывает настоящее с прошлым, не позволяя последнему стать историей. Рана, которую не отпустили, не просто остаётся — она начинает диктовать смысл последующих поступков. В этом и состоит самая коварная особенность мести: она создаёт ощущение завершения, но на деле только углубляет разрыв.

Механизм мщения не ограничивается действием. Он проникает в сознание, меняет его ориентацию. Он приучает воспринимать ярость как достоинство, негодование как истину, нанесённую боль как доказательство собственной чистоты. Сам образ себя перестраивается вокруг этой внутренней правоты. Так возникает моральная иллюзия: будто бы злоба стала правдой, а гнев — светом. И даже когда совершаются жесты, в которых распознать зло было бы легко с другой стороны, теперь они кажутся необходимыми, потому что исходят от «того, кто пострадал».

Но зло, получив новое лицо, не теряет своей природы. Оно не исчезает под новым флагом. Оно продолжает существовать — только теперь с подписью обоснованности. Именно так и создаётся замкнутый круг, в котором одно насилие поддерживает другое, а боль передаётся не ради исцеления, а как знак, как мера, как возвращённый долг. Месть становится цепью, которой связываются поколения, сообщества, судьбы. И каждый, кто вступает в неё, уверен, что именно он

восстанавливает справедливость — не замечая, что просто повторяет её утрату.

Метафизика мщения — это не только вопрос поступка, но вопрос внутреннего устройства, способности души различать между болью и добродетелью. Это испытание на предел восприятия: когда страдание вызывает не сострадание, а гордость, когда память используется не для осмыслиения, а для обоснования, когда желание мести не вызывает тревоги, а кажется проявлением силы. Тогда зло получает право говорить голосом справедливости — и тем опаснее становится.

Потому вопрос мести — это всегда не только вопрос о том, что делать, но и кем становится. И если восстановление требует повторения зла, то, возможно, оно не есть восстановление, а всего лишь продление разрушения — в новом имени, в новом образе, с тем же итогом.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ВТОРАЯ. КРАХ ИСКУПЛЕНИЯ

Редкость по-настоящему необратимого зла не делает его менее реальным. Есть мгновения, когда сама идея искупления — та, что веками была вплетена в легенды, исповедания, обеты и молитвы, — теряет свой смысл, словно отзыается в пустоте. Не каждое преступление поддаётся исцелению, не всякая вина допускает развязку. В определённых пределах, за определённой чертой, прощение перестаёт быть возможностью. Не потому, что его отказано, а потому что субъект уже неспособен принять его как что-то реальное. Вина становится не временем, а веществом — структурой, из которой уже не вырваться.

Там, где человек цепляется за другого не из доверия, а из ужаса потерять, возникает не любовь, но симуляция — пугающе правдоподобная. Привязанность, усиленная страхом, деформирует саму суть отношения. В ней исчезает различие между заботой и узурпацией, между признанием другого и его подчинением. Когда себя отдают не как дар, а как замену, растворение личности становится не жестом близости, а формой капитуляции. И в этом растворении гаснет способность различать добро и зло.

Стремление к искуплению теряет силу, когда исчезает дистанция между поступком и оправданием. Там, где внутренний голос заменяется нарративом преданности, где причинённая боль переименовывается в верность, любой жест превращается не в покаяние, а в продолжение заблуждения. Порой человек не может

быть прощён вовсе не потому, что внешний мир не готов простить, а потому что в нём самом исчезло пространство, где прощение могло бы прижиться. Всё внутреннее уже подчинено иллюзии, где боль — это доказательство любви, а зависимость — форма заботы.

Так рождается зло, которое не требует жестокости, чтобы состояться. Оно укореняется в повторении, в самообмане, в отказе увидеть последствия. В этом состоянии субъект больше не чувствует границ — он уверен, что действует по велению сердца. Он не считает себя виновным — он считает себя необходимым. В этом упорстве, в этой глухоте к чужой боли, исчезает сам язык нравственного различия. Всё становится «во имя», и потому всё становится допустимым.

И тогда идея перемены утрачивает значение. Ведь чтобы измениться, нужно не только отступить от действий — нужно отказаться от образа, в котором жил. А если этот образ стал единственным укрытием, если вся боль, вся история, вся самооценка встроены в него, то отказаться — значит лишиться не только фантазии, но и основания себя. И потому тот, кто однажды поверил, что любовь оправдывает всё, уже не может отступить, не разрушив последнего, что у него осталось — иллюзии своего значения.

И в этой неспособности отпустить возникает не просто повторение зла, а его закрепление. Не поступок, а состояние. Не момент, а бытие. Искупление возможно лишь при наличии движения: взгляда в сторону другого, усилия выйти за предел собственной правоты, риска оказаться неправым. Но там, где нет этого движения, где

вся мораль переведена в форму односторонней необходимости, прощение больше не находит адресата. Оно не отклоняется — оно становится невозможным.

Так зло, начавшееся с ранения или страха, переходит в заключённую структуру. Оно не требует уже новых жестов — оно просто есть. Оно стало домом, в котором обитают сразу оба: и тот, кто не может отпустить, и тот, кто не может уйти. И этот дом — не место раскаяния, а его окончательное забвение.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ТРЕТЬЯ. ЛЮБОВЬ И ЗЛО: КРИВОЕ ЗЕРКАЛО

Когда любовь и жестокость начинают делить одно пространство, они создают не просто противоречие, но оптическую иллюзию, в которой ни одна грань больше не поддаётся различию. Зеркало чувств искажается до такой степени, что отражение становится чужим: в нём ласка и удар, забота и давление, нежность и страх переплетаются в единое, неразрывное движение. Внутри этой изуродованной близости жест становится средством подчинения, а слова, однажды произнесённые с теплотой, начинают звучать, словно угроза, замаскированная под признание.

Такое сплетение не возникает извне — оно растёт внутри самой логики привязанности, используя язык любви как инструмент контроля. В подобных связях жестокость питается не ненавистью, а привязанностью. Удар преподносится как крайняя форма чувств, отвержение — как мучительная забота, крик — как сигнал отчаянной нужды. Жестокость, перенесённая в сферу интимного, уже не опознаётся как агрессия — она объясняется как страсть. И потому страдание становится не нарушением, а якобы выражением близости. Тот, кто страдает, начинает верить, что боль — это цена за важность, что контроль — это проявление внимания, что наказание — это способ быть замеченым.

Сама ткань этих отношений поддерживается не только действиями, но и рассказами, в которых они оформлены. Нарушитель объясняет свои поступки хрупкостью,

перегрузкой чувств, эмоциональной нестабильностью. Тот, кто страдает, приписывает тишине глубину, жестокости — ранимость, а отстранённости — невыразимую любовь. В этих объяснениях вырастает мифология, в которой зло не осознаётся как зло, а трактуется как сложность, требующая понимания, а не границы. Постепенно сама идея ухода перестаёт быть осмысленной, ведь вне этой конструкции уже ничто не кажется настоящей любовью.

Так формируется нравственное помрачение: различие между заботой и насилием теряется не случайно, а в процессе систематического повторения. Сердце, многократно травмированное, вырабатывает новый ритм восприятия, в котором боль становится постоянным сопровождением любви. Это больше не исключение — это структура. Жертва перестаёт ожидать мягкости, заменяя её стойкостью. Насильник отказывается от ответственности, заменяя её нарративом собственного ранения. Обе стороны теряют доступ к правде, потому что правда требует разотождествления, выхода за пределы привычной роли.

Сосуществование любви и зла перестаёт быть парадоксом — оно становится формой сокрытия. Одно использует другое как маску. Ласковый жест прикрывает подавление, а слова о верности сопровождают унижение. И чем дольше это длится, тем сильнее деформация: то, что раньше воспринималось как знак привязанности, теперь вызывает тревогу. Тот, кто должен был стать домом, становится источником тревожной зависимости. Связь, начинавшаяся как желание быть рядом,

превращается в ловушку, в которой исчезает различие между согласием и принуждением, между доверием и капитуляцией.

В итоге возникает не просто нарушенная любовь, а любовь, ставшая носителем разрушения. Зло в таких отношениях не громко заявляет о себе, оно нашептывает, убеждает, запутывает. Оно не вторгается — оно берёт форму привычного. И в этом — его особая опасность: оно прячется в признании, в заботе, в обещании быть навсегда. И зеркало, в которое смотрятся оба, уже не возвращает истины — оно отражает лишь изломанную симметрию двух душ, утонувших в образах, где зло и любовь перестали быть разными словами.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ЧЕТВЁРТАЯ. КОСМИЧЕСКОЕ ЗЛО: БЕЗРАЗЛИЧИЕ ВСЕЛЕННОЙ

Когда взгляд скользит сквозь беспредельную тьму космоса, среди умирающих звёзд и поглощающих себя галактик, в тишине, не озарённой ни смыслом, ни свидетельством, прступает угроза иного рода — угроза, не обладающая волей, но несущая в себе безмолвие, не равное покою, а предельной холодности. Вселенная не отвергает, как не прощает. Она попросту не замечает. Ни один жест, ни одна боль, ни одно усилие не отзыается в её структуре — и именно это отсутствие отклика рождает особую форму метафизического ужаса. Когда страдание развертывается без причины, а радость умирает, не будучи узнанной, бытие начинает напоминать сцену, где все роли исполнены, но никто не смотрит, никто не слышит, и сценарий никогда не меняется.

В этой предельной нейтральности нет умысла — и потому нет злобы. Нет наказания — и нет награды. И всё же именно такое беспристрастие, не окрашенное ни в свет, ни в тьму, оставляет человека без опоры. Оно не осуждает, но и не спасает. В нём нет цели, но и нет ошибки. Отсюда возникает иная форма зла — не человеческая, не богословская, не моральная, а космическая в своей безучастности. Она не замышляет, не преследует, не причиняет боль — она просто не отвлекается от своей безразличной продолжительности. Каждое молчание, в которое тонет отчаянный зов, становится эхом этого зла, которое не видит в себе зла, ибо ничего не видит вовсе.

Мир, в котором законы движения равнодушны к сознанию, а время безостановочно превращает всё в распад, обнажает глубину морального разрыва. Нет взгляда, в котором бы отразилась добродетель. Нет меры, которая бы обвинила жестокость. Свет звезды одинаково падает на насилие и сострадание, не различая их, и потому старые опоры — вера, природа, разум — начинают дрожать, теряя силу. Мораль, лишённаяневременного гаранта, парит, не находя опоры, и если и удерживается, то лишь за счёт самой хрупкой — человеческой — решимости удерживать её вопреки.

Попытка наделить существование смыслом в таком контексте становится жестом сопротивления — безмолвным, но непреклонным. Это не борьба с тьмой, а прикосновение к ней без надежды на ответ. И всё же, когда этот жест не получает отклика, в душе может зародиться не просто разочарование, но горечь. Начинает казаться, что сам факт сознания в мире столь равнодушном — уже изъян. Что не небеса виноваты в страдании, а само бытие, допустившее способность страдать без причины и без услышанности. В этом молчании — не жестокость, а равнодушие, страшнее любой злобы.

И это зло, не будучи злом в человеческом смысле, всё же становится злом в ощущении. Оно не нуждается в лице, в намерении, в объяснении. Оно не оставляет следа, но и не даёт пути. Оно не уничтожает — оно позволяет исчезать. И потому страх, что рождается перед лицом такой вселенной, связан не с гибелью, а с ничтожностью. Не страх конца, а страх ненужности. Боль не в том, что всё заканчивается, а в том, что ничего не начинается с

ответом. И в этом отказе — в этой глухоте, в этом отстранении — обнажается не только предел знания, но и граница самого человеческого.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ПЯТАЯ: ЗЛО И НЕЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ

Когда взгляд отворачивается от человеческой боли и задерживается на немом терпении нечеловеческого мира, жестокость принимает форму более первозданную, более обнажённую. Здесь исчезает иллюзия взаимности: остаётся лишь тело, не способное возразить, и рука, для которой это молчание становится приглашением. В тех действиях, что совершаются над животными, над почвой, над лесом и рекой, больше нет необходимости в объяснении — только в привычке. Именно в этой незащищённости, в полной невозможности ответа, зло показывает себя в наисуровейшей форме, освобождённой от рассуждений, оправданий и даже страха быть понятым.

Животные, не обладающие речью, но наделённые способностью чувствовать, становятся первыми жертвами той древней жестокости, которую трудно назвать иначе как стремлением к безусловному господству. Боль, причиняемая им, редко оставляет след в общественном сознании. Она приглушена теми словами, что якобы объясняют её необходимость: «традиция», «промышленность», «естественный порядок». Эти слова не проясняют, но скрывают, превращая страдание в функцию, лишая жизнь её подлинности, переводя существование в категорию ресурса. В этом переходе от живого к полезному происходит не просто моральное падение, но разрушение связующего чувства, того тонкого восприятия, что некогда соединяло человека с миром не по праву владения, а по праву соучастия.

Разрушение природы следует по той же линии, только в масштабах, измеряемых геологическим временем. Горящие леса, умирающие воды, мёртвая земля, переработанная в цифры и диаграммы, — всё это не случайность, не заблуждение, а результат утраты внутренней связи. Природа больше не воспринимается как живая ткань, но как некий инвентарь, безмолвный и бесконечный. В этой трансформации акт разрушения теряет видимость необходимости и становится откровением — не нужды, а власти. И с каждым сожжённым деревом, с каждой иссушённой рекой, с каждым исчезнувшим видом тускнеет что-то и в самом человеке. Ведь зло здесь заключено не только в уничтожении, но и в слепоте, в намеренном отказе увидеть жизнь там, где она продолжает дышать без слов, не прося и не обвиняя.

Жестокость по отношению к нечеловеческому миру не всегда рождается от неведения. Часто в её основе лежит жажда абсолютного господства. Зверь, не желающий подчиниться; дерево, растущее вопреки плану; океан, отказывающийся быть прибором — все они напоминают о границе, которую невозможно устраниć. И потому акт разрушения превращается в утверждение: «Я могу». Там, где сопротивления нет, ответом становится молчание, и в этом молчании зло достигает своей наивысшей простоты. Нет диалога, нет сделки, нет взгляда, который мог бы осудить. Есть только действие, и окружающая его тишина.

Но это молчание — не прощение. Оно не спасает, не сглаживает, не снимает вины. Оно лишь делает страдание безответным, а потому — совершенным. И хотя деревья не кричат, и реки не судят, следы нанесённого им вреда не исчезают. Земля помнит — в эрозии, в исчезающих

запахах, в жарком ветре, чьё тепло уже не питающее, а предвещающее. Мир, который ещё может расти, вместо этого несёт на себе тень обрушения. В этом разрушении отражается не просто ущерб ландшафту — разрывается сама ткань сопричастности, то место, где человек был не хозяином, а участником общего дыхания.

Зло в этом контексте не разрывается мгновенно — оно накапливается. Его не всегда видно, оно не требует громких приказов или трагических решений. Оно прячется в привычке, в «так принято», в безмолвной уверенности, что всё это — для человека. И именно в этой уверенности зло становится устойчивым, неделимым, почти невидимым. Чтобы увидеть его, требуется не крик, а внимание; не возмущение, а признание собственной соучастности.

Когда совершается насилие над теми, кто не может возразить, оно не становится менее тяжёлым — оно становится более чистым. Оно обнажает ту часть человеческой природы, что жаждет власти, не ради цели, а ради ощущения её полной беспрепятственности. И только в этом признании — в взгляде, способном увидеть жизнь там, где прежде виделся лишь инструмент, — может начаться возвращение. Не к невинности, а к ответственности, к взаимности, к ограниченности, способной стать источником меры. Ибо где нет ответа, там ответ должен быть человеком.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ШЕСТАЯ: ВЕЧНОЕ ВОЗВРАЩЕНИЕ ЗЛА

Сквозь многовековое течение человеческой истории зло не исчезает, но изменяет очертания, приспосабливаясь к духу времени, не теряя своей сути. Оно не отступает окончательно, лишь затихает, затаивается, затем возвращается, меняя форму, язык, маску, но всегда находя себе место в пределах власти, страха, желания и веры. Каждое поколение, уверенное в уникальности собственной борьбы, часто не замечает знакомого призрака, снова ожившего под новыми именами, но с той же природой. Повторение это не просто историческое — оно онтологическое: зло проявляется не как случайность, но как укоренённое присутствие, как составная часть человеческого существования.

Даже в эпохи, когда старые формы насилия, казалось бы, разоблачены и демонтированы, на их месте вырастают новые, более утончённые. Там, где раньше телесная боль была непосредственной, теперь мысль ограничивается надзором, алгоритмом, правилом. Насилие, прежде прямое, становится скрытым — оформленным через норму, протокол, политику. И всё же его суть неизменна: подчинить, разделить, утвердить разницу в ценности между одной жизнью и другой. Зло здесь не нуждается в открытой жестокости. Оно спокойно процветает в пространстве порядка, в устройстве, которое зовётся правом, в речи, что именует себя защитой.

Возникает узор — не повторение событий, но повторение основ. Господство, предательство, безразличие возвращаются, приняв облик, угодный настоящему. Война, угнетение, идеологическая чистка, экономическое насилие — всё это формы одного движения, движимого не верностью к какой-либо догме,

но готовностью той или иной системы стать его носителем. Зло не требует собственной идеологии. Оно легко надевает любую форму, которая допускает его распространение, будь то знамя революции, язык правопорядка или риторика свободы.

При этом постоянство зла не отрицает возможности нравственного роста. Но оно указывает на хрупкость каждого достижения. Прогресс не окончателен, освобождение — не бесповоротно. В каждом новом порядке уже скрываются механизмы, способные извратить изначальное намерение. Там, где была ясность, появляется догма. Там, где предполагалась защита, возникает новый способ исключения. И именно на этих рубежах, где добро ещё не укрепилось, а зло уже обретает форму, проявляется его сила — не внешняя, а внутренняя, проникающая в саму ткань смысла.

Говорить о вечном возвращении зла — не значит сдаваться или отрицать возможность перемен. Это значит признать, что борьба не имеет финала, что зло не бывает побеждено раз и навсегда. Оно отступает, прячется, но всегда ждёт новой возможности — когда память ослабевает, когда убеждённость в победе становится беспечностью. Забвение становится его союзником. Ведь зло возвращается не потому, что время движется по кругу, а потому что условия для его возрождения создаются снова и снова — руками тех же самых институтов, которые поклялись его обуздать.

Потому зло живёт не только в действии, но и в забвении. Оно обновляется всякий раз, когда объявляется побеждённым. И в этом обновлении оно раскрывает не только свойства мира, но и природу человека — существа, способного к состраданию и к жестокости, к памяти и к утрате, к созиданию и к разрушению.

Человеческое движение — не прямолинейный восход, но блуждание, вечное возвращение к тому, от чего, казалось, уже был сделан шаг прочь. И на этом краю, где сострадание встречается с безразличием, снова встаёт тот же выбор — быть свидетелем или исполнителем, молчать или называть.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ СЕДЬМАЯ. ЗЛО И КОНЕЦ ЧЕЛОВЕКА

Когда история движется вперёд без обещания искупления, сам вопрос начинает смещаться: дело уже не в том, можно ли преодолеть зло, а в том, отделимо ли оно вообще от самой сути человеческого. Прослеживая долгую нить предательства, жестокости, эксплуатации и равнодушия, всё труднее воспринимать зло как исключение. Оно проявляется не как сбой, но как часть сознания — не болезнь, а возможность, скрытая в самой природе свободы, в способности воображать и действовать против мира, который позволяет существовать. Под этим светом мечта о нравственной чистоте растворяется, оставляя после себя более тревожное видение: быть человеком — значит не только созидать, но и разрушать; не только любить, но и портить, уродовать, калечить.

Уникальность человеческого зла заключается не в его масштабах, но в его осознании. Прочие живые существа убивают, защищаются, питаются, но не причиняют страдание во имя идеи, не оформляют насилие в языке порядка или справедливости. Только человек создаёт системы, в которых разрушение обретает форму закона или морали, только он превращает исключение в правило, разрабатывая идеологии, освящающие исключение, или механизмы, уничтожающие жизнь в оболочке прогресса. Зло здесь перестаёт быть действием — оно встраивается в саму структуру цивилизации, проникая в архитектуру, в речь, в устройства закона и веры. Оно приходит не как буря, но как порядок; не как крик, а как механизм.

На фоне такой неразрывной связи выживание начинает означать не просто продолжение биологического существования, но сохранение самой идеи человека — нравственной, образной, духовной. Если жестокость — не случайность, а постоянство, то что тогда остаётся в будущем, не несущем в себе собственной угрозы? Каждый технологический скачок даёт новый инструмент уничтожения, каждая социальная революция рискует повторить те формы угнетения, от которых стремится избавиться. Вид, способный чертить карты звёзд, не может остановить собственное стремление к господству. Разум, мечтающий о преодолении телесного, сам проектирует свою гибель.

И всё же внутри этого зеркала остаётся напряжение, которое не исчезает. Если зло неотделимо от человека, то и знание о нём тоже. Ни одно другое существо не способно с такой ясностью созерцать собственные провалы, не создаёт искусства, памяти, мысли в ответ на свою способность причинять вред. Эта осознанность, сама способность скорбеть и размышлять, быть может, и есть то, что сдерживает окончательное завершение. Парадоксально, но именно это знание удерживает границу — не обещанием победы над злом, а тем, что его возможно видеть, называть, нести, не питая иллюзий.

Конец человеческого может наступить не в виде взрыва или молчания, но как медленное угасание этой самой осознанности. Когда жестокость перестаёт ощущаться как жестокость, когда несправедливость уже не ранит совесть, когда грань между поступком и оправданием стирается до неразличимости, тогда приходит не смерть,

но забывание. Исчезает не тело, но душа — та часть, что когда-то беспокоилась вопросами добра и зла. И в этом исчезновении зло доводит свой замысел до конца: не уничтожая человека, но опустошая его изнутри, оставляя оболочку, которая всё ещё говорит, движется, дышит, но уже не помнит, чем пыталась однажды стать.

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ВОСЬМАЯ: Конец Зла

В финальной тишине, когда падают последние маски, и шум оправданий растворяется в пустоте, остаётся только один вопрос — не о происхождении зла, не о его меняющихся обличьях, но о том, может ли оно действительно закончиться. Возможно ли оставить его позади, как тень, отбрасываемую ранним неведением? Или уже сама попытка окончательно победить его — и есть последняя западня, расставленная им для тех, кто уверовал в собственную неприкосновенность?

Зло, обладая способностью к возрождению, редко выступает в открытую. Оно выживает благодаря переодеванию, используя язык своих противников, прячась в обликах справедливости, необходимости, даже искупления. И потому всякая решимость устраниить его до конца рискует стать отражением того, что она стремится уничтожить. Чем строже намерение, тем опаснее его результат. Именно в категоричности зло находит себе убежище — укрытое в правоте, запечатанное в убеждённости, защищённое от сомнений.

Желание покончить со злом исходит из предположения, что оно имеет чёткие очертания, что его можно вычленить, как болезнь из тела. Но зло ускользает от таких форм. Оно не только в ярости или чудовищных поступках — оно в обыденности, в привычках, в молчании, в тех уступках, что незаметно становятся нормой. Оно держится не потому, что сильнее добра, а потому что терпеливее — оно живёт в ожидании,

затаившись в самих структурах, созданных для его сдерживания, выжидая, пока настороженность притупится, а убеждение обернётся жестокостью.

Преодоление зла, возможно, не требует уничтожения, но требует неустанного распознавания. Не победы, но памяти. И даже в этом кроется опасность: сосредоточившись на зле без остатка, легко придать ему устойчивость. Одержанность превращается в соучастие. Обличение становится спектаклем. В стремлении подчинить зло человек рискует обрести его форму — возводя тюрьмы ради безопасности, сжигая книги во имя истины, подавляя голос во имя порядка.

И может быть, зло нельзя устраниТЬ, как гасят огонь или рушат стены. Его поражение не в подавлении, а в отказе. В малых, повседневных действиях, не оставляющих ему почвы. В жестах, где ему нет пространства. Или же истина глубже и мрачнее: зло не побеждается потому, что не является внешним — оно рождается изнутри. И если так, то уничтожение зла означало бы отказ от самого человеческого: от воли, от памяти, от желания и от свободы.

Трагедия, возможно, не в том, что зло продолжает существовать, а в том, что его присутствие раскрывает нечто неизбежное. Оно свидетельствует о существе, способном мечтать о добре, но не способном в полной мере стать им; о сознании, ищущем свет, проходя через тьму. И в этом парадоксе звучит самое тревожное: борьба со злом — это не путь к спасению, но арена, на

которой зло утверждает свою власть. Не через победу, а через вечность самой борьбы.

Приглашаю вас ознакомиться с моей работой «*The real evil: Beyond good, beyond God. The Ultimate Philosophy of Evil*» — «*Истинное зло: За пределами добра, за пределами Бога. Высшая философия зла*».

В ней обсуждается природа зла вне рамок традиционной морали и религиозных категорий. Работа рассматривает философские основы понятия "зло", выходя за пределы привычных представлений о доброте и Боге. Публикация размещена в «*The common sense world*» и представляет интерес для тех, кто интересуется философией, этикой и критическим осмыслением морали.

БИБЛИОГРАФИЯ

- Kriger, B. (2025).: The real evil: Beyond good, beyond God. *The Ultimate Philosophy of Evil*. The common sense world
- Adorno, T. W., & Horkheimer, M. (2002). Dialectic of enlightenment: Philosophical fragments (E. Jephcott, Trans.). Stanford University Press. (Original work published 1944)
- Agamben, G. (1998). *Homo sacer: Sovereign power and bare life* (D. Heller-Roazen, Trans.). Stanford University Press.
- Arendt, H. (1963). *Eichmann in Jerusalem: A report on the banality of evil*. Viking Press.
- Bauman, Z. (1989). *Modernity and the Holocaust*. Cornell University Press.
- Benjamin, W. (1968). *Illuminations* (H. Zohn, Trans.). Schocken Books.
- Berlant, L. (2011). *Cruel optimism*. Duke University Press.
- Bourdieu, P. (1998). *Practical reason: On the theory of action*. Stanford University Press.
- Butler, J. (2004). *Precarious life: The powers of mourning and violence*. Verso.
- Cavarero, A. (2009). *Horrorism: Naming contemporary violence* (W. McCuaig, Trans.). Columbia University Press.

- Chomsky, N. (1999). The new military humanism: Lessons from Kosovo. Common Courage Press.
- Deleuze, G., & Guattari, F. (1983). *Anti-Oedipus: Capitalism and schizophrenia* (R. Hurley, M. Seem, & H. R. Lane, Trans.). University of Minnesota Press.
- Derrida, J. (1992). *The gift of death* (D. Wills, Trans.). University of Chicago Press.
- Durkheim, E. (1915). *The elementary forms of the religious life* (J. W. Swain, Trans.). Macmillan.
- Fanon, Frantz. (2004). *The wretched of the earth* (R. Philcox, Trans.). Grove Press.
- Foucault, M. (1977). *Discipline and punish: The birth of the prison* (A. Sheridan, Trans.). Pantheon Books.
- Foucault, M. (1978). *The history of sexuality: Volume 1: An introduction* (R. Hurley, Trans.). Vintage Books.
- Freud, S. (1961). *Civilization and its discontents* (J. Strachey, Trans.). W. W. Norton. (Original work published 1930)
- Girard, R. (1977). *Violence and the sacred* (P. Gregory, Trans.). Johns Hopkins University Press.
- Gray, J. (2003). *Straw dogs: Thoughts on humans and other animals*. Farrar, Straus and Giroux.
- Jameson, F. (1991). *Postmodernism, or, the cultural logic of late capitalism*. Duke University Press.
- Kant, I. (1996). *The metaphysics of morals* (M. Gregor, Trans.). Cambridge University Press. (Original work published 1797)
- Klein, M. (1975). *Envy and gratitude and other works 1946–1963*. Hogarth Press.
- Kristeva, J. (1982). *Powers of horror: An essay on abjection* (L. S. Roudiez, Trans.). Columbia University Press.
- Lacan, J. (1977). *Écrits: A selection* (A. Sheridan, Trans.). W. W. Norton.
- Lévinas, E. (1969). *Totality and infinity: An essay on exteriority* (A. Lingis, Trans.). Duquesne University Press.
- Mbembe, A. (2003). *Necropolitics*. *Public Culture*, 15(1), 11–40.
- Nietzsche, F. (2006). *On the genealogy of morals* (D. Smith, Trans.). Oxford University Press. (Original work published 1887)
- Pasolini, P. P. (1980). *Heretical empiricism* (L. Benevuto, Trans.). Indiana University Press.
- Ricoeur, P. (1985). *Time and narrative: Volume 3* (K. McLaughlin & D. Pellauer, Trans.). University of Chicago Press.
- Sartre, J.-P. (2007). *Existentialism is a humanism* (C. Macomber, Trans.). Yale University Press. (Original work published 1946)
- Scarry, E. (1985). *The body in pain: The making and unmaking of the world*. Oxford University Press.
- Sloterdijk, P. (2010). *Rage and time: A psychopolitical investigation* (M. Eldred, Trans.). Columbia University Press.
- Sontag, S. (2003). *Regarding the pain of others*. Farrar, Straus and Giroux.
- Taussig, M. (1987). *Shamanism, colonialism, and the wild man: A study in terror and healing*. University of Chicago Press.
- Weber, M. (2002). *The Protestant ethic and the spirit of capitalism* (S. Kalberg, Trans.). Roxbury Publishing. (Original work published 1905)

- Weil, S. (2002). Gravity and grace (E. Crawford & M. von der Ruhr, Trans.). Routledge.
- Žižek, S. (2008). Violence: Six sideways reflections. Picador.
- Žižek, S. (1997). The plague of fantasies. Verso.
- Žižek, S. (2002). Welcome to the desert of the real. Verso.